



ФЕЛИКС РОЗИНЕР • СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА



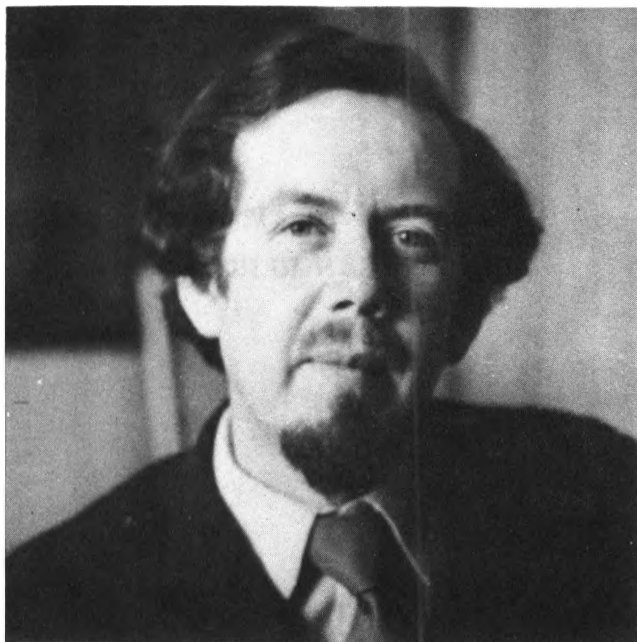
ФЕЛИКС РОЗИНЕР
СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА



Серия "КОРНИ"

Феликс Розинер

СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА



ФЕЛИКС РОЗИНЕР

Писатель – прозаик, поэт, драматург, музыкальный критик. Родился в Москве в 1936 году. Окончил Полиграфический институт, учился в консерватории, был на инженерной работе. В начале 60-х годов выступает как поэт. В России выпустил семь книг, в том числе несколько беллетризованных биографий композиторов. На Западе опубликовал роман "Некто Финкельмайер" (Парижская литературная премия им. В. Даля за 1980 г.), ряд прозаических и стихотворных произведений, статьи о музыке и искусстве. В Израиле живет с 1978 года.

Книга "Серебряная цепочка" – вместе с работами, публикуемыми в сборнике "Корни", – получила в 1981 году премию на конкурсе "Мой отчий дом в России", объявленном Центром исследований и документации восточноевропейского еврейства при Еврейском университете в Иерусалиме.

Феликс Розинер

СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА

семь поколений одной семьи



БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ

1983

Printed in Israel

עיריית חיפה
מזכרות תרבות
מחלקת המידע והחינוך
בית המידע והחינוך
מס. מלאי.....

724

רוזינר פליקס

חבל הכסף

Felix Roziner

THE SILVER CORD

Рисунок на обложке Татьяны Кудрявцевой

©

All rights reserved

כל הזכויות שמורות

לספרית-עליה

ת.ד. 7422, ירושלים

היוצאת לאור בסיוע:

האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים

וקרן זכרון למען תרבות יהודית, ניו-יורק

OCR Давид Титиевский, август 2021 г., Хайфа

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	5
Введение.	11
Глава первая.	
Семейная миграция	20
Глава вторая.	
Времена прадедов	31
Глава третья.	
Времена дедов. Узляны	51
Глава четвертая.	
Времена дедов. Отцовская линия	91
Глава пятая.	
На смене времен. Узляны: война; революция	107
Глава шестая.	
Времена отцов.	144
Глава седьмая.	
Времена отцов. Палестина	167
Глава восьмая.	
Времена отцов. Вновь Россия	179
Глава девятая.	
Современность	210
Вместо заключения.	
Идеализм как смысл жизни	234
Краткий пояснительный словарь.	238

ОТ АВТОРА

Эта книга писалась для конкурса "Мой отчий дом в России", объявленного Центром исследований и документации восточноевропейского еврейства при Еврейском университете в Иерусалиме. Рукопись, представленная на конкурс, содержала в качестве приложения многочисленные документы из семейного архива, а в самом тексте — ссылки на них. В книге эти документы и ссылки не приводятся. Готовя свою рукопись к печати, я провел лишь необходимую стилистическую и фактологическую правку и не стал добавлять и менять что-либо существенное по сравнению с тем, что писалось два с лишним года назад.

Большое место в книге уделено запискам моего деда Шмуэля Давида Рабиновича. Эти записки — интереснейшее свидетельство эпохи, и я глубоко удовлетворен тем, что могу опубликовать написанное им. Записки даются с незначительными сокращениями, без подзаголовков и с некоторыми изменениями в последовательности эпизодов.

*Сентябрь 1982 г.
Тель-Авив*

БЛАГОДАРНОСТЬ

Большую долю вдохновения, труда и сил вложил в эту работу мой дядя Ирмияху Рабина. Без его участия эти страницы не были бы написаны. Он же сохранил и многие семейные документы, которые легли в основу работы.

Я пользуюсь возможностью сказать здесь о своей любви к Ирмияху и прошу его принять мою глубокую благодарность.

Помогали нам многие члены нашей семьи и родственники.

Иехошуа Йошпан (י"ח) брал на себя роль переводчика.

Мордехай Канторович помог восстановить план Узлян.

Всем им – сердечная признательность.

ПОСВЯЩЕНИЕ

*Моим родителям –
Якову Розинеру
Юдит Розинер-Рабинович*

*Памяти моего дяди Симона Розинера,
скончавшегося в 1933 году
в киббуце "Ха-шомер ха-цаир"*

*Памяти моего дяди Александра Розинера,
замученного в России в 1938 году*

Брату – Марти Розинеру

Сыну – Владимиру Илану Розинеру

*Братьям и сестре моей матери –
Ирмияху Рабина, Шаулу Рабина, Цви Рабина,
Элишеве Рабина-Калаи, Зрубавелу Рабина*

Доколе не порвалась серебряная цепочка...

Экклесиаст, 12:6

ВВЕДЕНИЕ

Семь поколений. Семь колен. Семья — семь я...

Семь — число священное. Может быть, только сейчас, обратившись к истории моей семьи, я понял, почему выражение "до седьмого колена" стало устойчивым словосочетанием и при обещании благодарной памяти и при навлечении проклятья. Как мне стало видно сейчас на примере своей семьи, *именно период жизни семи поколений остается живым в памяти людей*. Моя мать, ее братья и сестра уже видят перед собой *три* поколения, следующих за ними; в то же время *три* поколения предыдущих, если считать от прадеда моей матери, жившего в доме, где она родилась, также прошли перед ее глазами, и значит, перед глазами тех, кто стоит сейчас в среднем, четвертом из этих семи поколений.

Я принадлежу к поколению пятому. У моих двоюродных сестер Шломит и Ханы уже есть внуки — седьмое звено в серебряной цепочке поколений.

"Доколе не порвалась серебряная цепочка..."

Те немногие из близких мне людей, кто знают строй моего мировосприятия, знают и то, что книга "Экклесиаст" является для меня наивысшим выражением всех гуманитарных ценностей мировой поэзии и философии. Нет в моей жизни того, что не находило бы отклика в стихах "Экклесиаста". И вот таинственная, мерцающая тусклым светом "серебряная цепочка",

всегда волновавшая мое воображение своей красотой и в то же время непроявленностью смысла, сегодня, когда я обратился к этой работе, вдруг открыла мне одно из своих значений.

... Было одно из "семейных собраний", на котором мой дядя Ирмияху уже не в первый раз говорил про своего отца — моего деда. Ирмияху сказал, что нужно говорить не о "корнях", как это принято обычно. Ведь корни отличаются от ствола, а ствол от листьев, да и все поколения такие разные... "Цепь, звенья одной цепи", — предложил Ирмияху. И Цви, его брат, произнес: "*Хевель ха-кесеф*" — серебряная нить, — или, в привычном мне переводе, серебряная цепочка...

Я это принял как разумеющийся сам собой образ той работы, за которую взялся. И тут же подумал, что цепь житейская, цепь физического продолжения из поколения в поколение — это лишь самая внешняя сторона столь близкого мне образа. Эта цепь "серебряная", и в ней заключается, как в серебре, и красота и самоценность, и значит, в этом образе есть некий высший, надматериальный смысл, духовный и этический, и вот серебро цепи поколений и может стать для меня существом давно знакомых слов из древнего "Экклесиаста".

Серебро не ржавеет. Но оно, как известно, тускнеет со временем. Однако если прикоснуться к нему — к серебру или ко времени — и, приложив необходимую толлику усилий, снять черноту, цепочка засветится, вбирая в себя свет дня сегодняшнего. Таков и смысл памяти: она освобождает прошлое от черноты и позволяет ему светиться под солнцем вечности. Таков и смысл того, о чем сейчас пишу.

В начале 1953 года мне было чуть больше шестнадцати. Я учился в последнем классе школы, и мне необходимо было получить отличный аттестат, чтобы приобрести какие-то шансы на поступление в институт. Меж тем, здоровьем я в детстве и в юности не отличался и часто пропускал занятия. Вот и тогда, в январе, я болел, лежал в постели и запоем читал "Остров пинг-

винов” Анатоля Франса. Так получилось, что эта книга, с ее ироническим изображением истории европейской цивилизации, и в частности убийственной сатирой на дело Дрейфуса, стала незабываемым рубежом в моем развитии.

Вокруг творились страшные вещи. На Московском автозаводе имени Сталина, где работал отец, за некоторое время до этого прошли аресты, и почему-то арестовали одних евреев. Только что объявили об аресте группы врачей-вредителей, и почти все они — мы судили только по фамилиям — тоже были евреи. Теперь подошло и к нам: отец и мать были исключены из партии ”за сокрытие связей с заграницей”. Арест казался неизбежным, и в доме спешно уничтожались бумаги и фотографии, которые могли быть обращены против родителей, друзей семьи, родственников. Картина уничтожения лиц наших близких и знакомых была потрясающей, и мой старший брат попытался протестовать. ”Я не хочу быть Иваном, не помнящим родства!” — зло сказал он.

Спустя десять лет, как бы к юбилею этих событий, я написал поэму, в которой постарался передать гнетущую атмосферу месяцев и дней, предшествующих смерти Сталина, и дикую картину его похорон. Хотя стихотворная форма способна больше выразить эмоции, чем факты, я чувствую и теперь, что поэма ”Зима весны моей” действительно документализировала атмосферу времени, грозившего нам всем уничтожением.*

Я тоже, видно, не хотел быть ”не помнящим родства”, и размышляя сейчас, почему не оставался равнодушен к прошлому, прихожу к выводу, что помимо причин естественных — людям свойственно ”чувство рода”, — была тому и причина не совсем обычная: интерес к своему происхождению и к прошлому моей

* Когда эта книга была в наборе (январь 1983 г.), поэму под рубрикой ”К 30-летию ”дела врачей” опубликовал журнал ”Круг” (№292)

семьи был у меня связан с чувством протеста против действительности. Прошлое, каким бы далеким, непонятным и нередко чуждым ни представлялось оно мне, когда я слушал рассказы отца или матери, было *другим*, чем то, что я видел вокруг и что отрицал уже начиная с шестнадцати — восемнадцати лет. Вообще в Советском Союзе прошлое — *terra incognita* и тема, которую лучше не затрагивать. Те же, кто ее касались, не могли говорить о прошлом правду, — во всяком случае правду полную. Так как прошлое в силу нашего к нему отношения поневоле сравнивается с настоящим и выступает часто как противопоставление реальности, в Советском Союзе представление о прошлом выглядит "враждебным", если это представление окрашено в позитивные тона, и "полезным", если оно окрашено в тона негативные. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мы, дети, а потом подростки и юноши, знали о прошлом, и в частности о нашей семье, лишь немногое, обрывочное, хотя, конечно же, мы воспитывались в полном уважении к памяти дедов. Нужно сказать при этом, что мои родители, как будет ясно видно из дальнейшего, еще в юности решительно порвали со своими семьями, точнее — со средой, из которой вышли (в России эта среда исчезла сама по себе), что тоже определяло их желание или нежелание рассказывать о прошлом.

И была, конечно, еще одна причина, с детства поддерживавшая во мне интерес к тому, что же есть на самом деле моя семья и кто мои родственники. Кажется, сразу после окончания Второй мировой войны была принесена в дом *"посылка из Палестины"*. Там были продукты и вещи (не помню точно, может быть, то были две разных посылки), и все это поражало своим "иностраннным" видом и... той взволнованностью и таинственностью, которые возникли вокруг этого события. Тогда я впервые услышал странное слово "кошер", но из объяснений понял только то, что это означает то ли "можно есть", то ли "нельзя есть", а также и то, что к нам это не относится. Куда лучше я понял, что

болтать о посылке не следует. Пришли и письма, а с ними и фотографии. На одной из них среди десятка взрослых мужчин и женщин сидело и стояло множество веселых детишек. С недоумением я смотрел на них. Неужели это мои двоюродные братья и сестры? Такие же, как живущие вместе с нами Ленка и Майка? А вот эта пожилая женщина — моя бабушка?.. И эти мужчины — мои дяди?.. Помнится, из детей я отметил своим вниманием "Анну" (Хана, дочь Ирмияху) — у нее на фотографии косы, и стоит она красиво, стройно вытянувшись — и "Додика" (Давид, сын Элишевы) — этот мальчишка проказливо смеялся, глядя на меня. Еще заинтриговало и привлекло меня имя "Суламифь", которое принадлежало чуть улыбавшейся темноволосой девочке (Шломит, дочь Шаула). Так вот, значит, с какой "заграницей" была у нас "связь" в эти годы от 1946-го до 1953-го! За то, что приходили письма от них, от этих вполне обычных, приятных людей, родители подвергались гонениям и вот-вот в одну из ночей будут забраны? — думал я в лихорадке простуды. И я мало связывал эту угрозу с "делом врачей": про врачей говорили, что там "что-то было". И про аресты на заводе тоже говорили, что "что-то было", и упоминалось имя "Голда" и называлась еще "синагога" (не очень было понятно, в какой связи, да и где она, эта самая синагога, — она была для меня абстракцией), — в общем, "что-то было"... а уж тут-то, у нас дома, я точно знал, — *ничего не было!* Потому что из-за этих вот ребятишек на фотокарточке никак нельзя отправлять в тюрьму!

Пропаганда и красивое пустословие с младенчества стояли в сознании моего поколения и своим туманом скрывали сущность происходящего, искажали реальное положение дел. Мое сознание от этого тумана стало очищаться именно в те дни, о которых я говорю здесь так много, и, конечно же, очищение это было столь быстрым и глубоким потому, что затронуло *семью, дом, прошлое*, что, как видно, коренится в нас прочнее, чем мы можем представить себе.

Та фотография осталась не уничтоженной. Для меня она обрела символический, а для летописи моей семьи — и смысл исторический. Я уверен, что эта фотография стала одной из стрелочек на дороге, приведшей меня сюда, в Израиль.

Возраст фотографии исчислялся уже тремя десятилетиями, когда ее внимательно стал рассматривать еще один представитель нашего семейства — мой сын Володя. Лет двенадцати он увлекся историей и археологией. Предметы старины, нумизматика, геральдические знаки и родословные на долгое время захватили его воображение. С помощью взрослых он принялся восстанавливать родословную нашей семьи и рисовать генеалогическое дерево. Сын рос уже в иные времена и в иной атмосфере. О родных в Израиле говорилось открыто, а сам Володя начал переписку с Дэбби (дочь Зрубавела). Жизнь уже неуклонно вела нас к отъезду из России. И складывалось так, что сыну и его матери предстояло выехать раньше, чем мне, его отцу, чем его дедушке и бабушке. Именно в этот период, предшествовавший нашему расставанию, сын особенно интенсивно занялся изучением родословной. Опять на грани неведомого, перед лицом возможного разрушения связей с прошлым заговорило, как видно, в подсознании четырнадцатилетнего подростка что-то, звавшее его сохранить в своей памяти серебряную цепочку, не дать ей порваться...

С персонажами исторической фотографии сын встретился раньше меня, в январе 1977 года. Полгода спустя сама фотография вновь оказалась в Израиле: ее привезли мои родители. Еще почти полтора года прошло, прежде чем приехал сюда и я. И зная, что я писатель, один из родственников, чуть ли не в день приезда спросив, собираюсь ли я тут писать, сказал: "Ты должен написать историю этой семьи..."

Потом в беседах с Ирмияху не раз обсуждалась эта идея. Он упомянул о воспоминаниях и дневниках деда, что дед писал стихи, которые тоже сохранились, о старых документах и фотографиях. То есть имелся архив,

а это для меня, уже немало занимавшегося биографиями людей прошлого, означало, что, может быть, есть основа для интересной работы.

Конечно, во мне говорит литератор, а не историк (такovým я никогда не был), когда теперь, собрав немало материалов о своей семье, задумываюсь я о том, в какую же форму следует мне свой труд облечь. Возможностей тут несколько, и как писателя, склонного к беллетризации повествования, меня привлекает форма семейной хроники, основанной сперва на воспоминаниях детства; затем естественно было бы перейти к юности и к молодости, рассказывая при этом о своих родителях, с которыми я прожил бок о бок все свои четыре десятилетия с лишним (как это много! — вздыхаю я сейчас...); время от времени я при удобном случае удалялся бы в прошлое, как бы восстанавливая по обрывочным сведениям историю дедов и прадедов... Идя дорогой детской памяти, я мог бы вызвать в воображении своем кирпичный дом среди таких же "красных домов" на "Шарике" — то есть в рабочем поселке напротив Первого московского подшипникового завода имени Л. М. Кагановича (1-й ГПЗ), где работала моя мать, — в этом доме я провел первые три года своей жизни; затем представить себе тот дом, где жили мы с 1939 по 1962 год — на улице Машиностроения, в десяти минутах ходьбы от "Шарика" и минутах в двадцати пяти от ЗИСа — Автозавода имени Сталина, где работал мой отец; и я мог бы назвать "отчим домом" эту единственную комнату — 24 метра на четырех человек — в коммунальной квартире на три семьи, то есть еще с двумя комнатами и с двумя семьями, всего тринадцать человек в квартире... Отсюда можно было бы начать повествование. И я бы рассказал, как мы встречаемся с нашими родственниками — это, конечно же, мамыны тетки, сестры ее отца, женщины пожилые, несколько странноватые на мой детский взгляд, причем известно мне, что есть еще где-то мамина тетка в

Ташкенте с фамилией невероятной – Ньютон! – и муж у нее был (представить себе невозможно!) американец и чуть ли не негр! Кстати, тогда жил в Москве, возможно, один-единственный негр, и он, по нашему мальчишескому счастью, работал именно на Шарике. Как мне объяснили, ”в тридцатых годах” – страшно далекое время, лет за пять до моего рождения! – приехал этот негр из Америки строить здесь социализм, а конкретно – Подшипниковый завод. Все негры считались тогда нашими, советскими, потому что их угнетали буржуи. А этот был вдвойне, втройне наш: он уехал из проклятой Америки – страны буржуев-капиталистов, чтобы быть с нами! Я тогда не знал, и долго еще не знал, что капиталисты, чуть ли не фашисты – потому что это были итальянцы – сделали проект завода и поставили оборудование для него. Не знал я также, что множество евреев, прозывавшихся ”палестинцами”, тоже приехали строить в России социализм, а конкретно – Подшипниковый завод, и что потом большинство их пересажали, многих расстреляли и уничтожили посредством пыток, и что в числе погибших палестинцев был брат моего отца, – мне говорилось, что ”дядя Шура умер”... Я думаю теперь, что негр (я вспомнил его фамилию: Робинсон – почти еврейская фамилия!) остался жив именно в силу расовых, точнее, антирасовых и классовых соображений: негр по советским тогдашним понятиям мог быть только хорошим, так как принадлежал к угнетаемым, и например, негритенок в кинофильме ”Цирк” вызывал всеобщее умиление. (Сейчас тот негритенок – обыкновенный советский поэт Джим Паттерсон.) Точно так же и в первые годы после революции 1917 года евреи в глазах властей были представителями угнетаемых. Потом это кончилось. Несколько позже и негров стали делить на ”чистых и нечистых”, а простой народ, быстро забыв об интернациональном воспитании, стал называть ходящих по Москве в великом множестве друзей-негров очень красивой кличкой ”черномазый”...

Итак, я отвлекся. Я хотел рассказать о маминых тетках, сестрах деда, но упомянул о "палестинцах", — а мои мать и отец ведь тоже побывали в Палестине и вернулись в СССР, — и вот теперь я убеждаюсь, и убеждается вместе со мной читатель, что подобный, свободный для ассоциаций, для отклонений во времени и в тематике стиль изложения, может быть, и привлекателен с точки зрения литературной, но для фактологических описаний, строгих по своему содержанию, мало приемлем.

Я смиряю в себе литератора и говорю себе: документальность, хронология и лаконизм — вот три кита, на которых должно мне построить свой рассказ. Примерно так: "Я родился в Москве 17 сентября 1936 года. Отец мой Яков Розинер происходил из семьи владельца книжного магазина в Одессе. Мать Юдит (Юдифь) Рабинович родилась в местечке Узляны, в Белоруссии. Ее отец был..." — и так далее. Но тут я убеждаюсь, и убеждается вместе со мной и читатель, что подобный, несвободный для ассоциаций, для отклонений во времени и тематике стиль изложения, может быть, и привлекателен с точки зрения фактологической строгости, но со стороны литературной мало приемлем.

Я избираю "третий путь", может быть, и самый трудный, но привлекательный для меня, потому что хочу в своем рассказе соблюсти документальную точность; быть хронологически последовательным — в тех пределах, пока это оправдывается целью повествования; но в то же время быть и свободным в своих комментариях и интерпретациях — поскольку они как выражение мирозерцания автора также являют собой свидетельство времени.

Следует оговорить еще одно обстоятельство. Из дальнейшего будет видно, что большая часть повествования говорит об истории моей семьи с материнской стороны. Объясняется это лишь тем, что, к сожалению, о семье отца известно много меньше.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

СЕМЕЙНАЯ МИГРАЦИЯ

Период, который так или иначе будет затронут в этом очерке истории моей семьи, обнимает целое столетие. Это период, сведения о котором почерпнуты если не из первых рук — из свидетельств современников происходившего, то во всяком случае основаны на сохранившихся документах, которые чем дальше в глубь времени, тем более отрывочны. Более ранние времена уже не документируются, и многое там легендарно. Так, положим, почти легендарны фигуры двух раввинов — Натана Рубина из Бобруйска и Авраама Аарона Пешина из Уречья, годы рождения которых должны, по-видимому, относиться к тридцатым-сороковым годам прошлого века. Однако сохранились фотоснимки того и другого, и, следовательно, мы находимся тут все еще в пределах *истории*. И затем, дальше в прошлое — уже, скорее, предания или, если хотите, "мемуарная археология", — поскольку история, как известно, уступает место археологии с того момента, когда исчезают письменные документы...

Мне думается, здесь не место давать даже скольнибудь краткое общеисторическое описание этого периода в сто с лишним лет. Даже лежащий передо мной достаточно сжатый "Очерк истории еврейского народа" (под ред. проф. Ш. Эттингера), изложенный на

восьмистах страницах, посвящает этим ста последним годам из всего, примерно, четырехтысячелетнего периода существования евреев 250 страниц, то есть почти одну треть текста!.. И хотя "краткость — сестра таланта", и хотя я декларировал выше, что лапидарность будет лежать в самой основе моего рассказа, я не возьмусь сказать скороговоркой о том историческом фоне, на котором рисуется сейчас моя семейная родословная. Достаточно поставить лишь несколько вех, чтобы это столетие было очерчено.

Процесс ассимиляции евреев; зарождение и распространение идеи сионизма; революция в России; Вторая мировая война и образование Государства Израиль; нынешний исход из Советского Союза, — вот те вехи, по которым словно бы и шла судьба, ведя за собой сперва моих дедов и прадедов, затем родителей и наконец меня самого и мою семью...

Разумеется, что судьба любой семьи у любого народа тесно связана с судьбой всей нации. В этом смысле можно утверждать, что как в капле воды заключается целое море, так и в истории одной семьи заключена история народа. Или, как на пресном языке советской морали говорилось и говорится на родительских собраниях в школах Союза, — "семья — ячейка общества"... Словом, эта истина общеизвестна. Но обращаясь к своей семье, я подумал вдруг, что, вероятно, истина сия выступает у евреев более обнаженно, чем у любого другого народа.

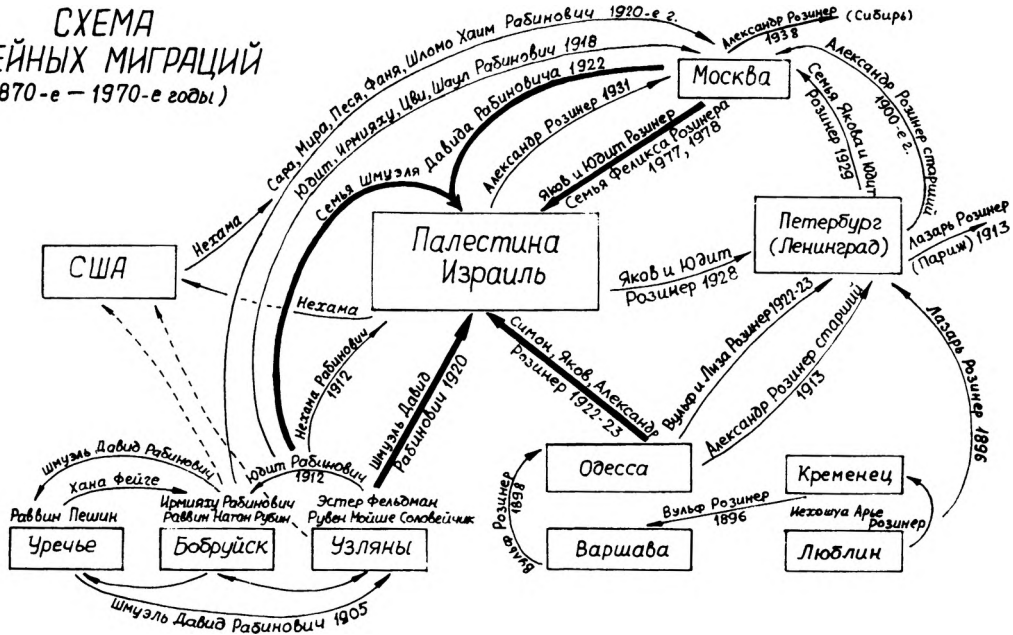
Должен сразу оговорить одну принципиальную сторону того, что я хочу здесь изложить: я ни в коем случае не выступаю в этих записках апологетом тех или иных взглядов на сущность, смысл, идеологию и интерпретацию всего того, что связано с понятием "еврейство". Не это моя задача, и не здесь мне высказывать свои, далеко не неподвижные, взгляды на эти сложные, конфликтные изначально и внутренне проблемы. Поэтому, если я написал "чем у любого другого народа", то я имею в виду совершенно конкретное положение

ние, и я должен показать, на чем мое утверждение зиждется.

Представим себе, что мои предки с одной стороны — торговцы или протестантские священники в небольшом французском селении, а предки с другой стороны — люди, занимающиеся книжным делом. С тем же успехом можно говорить о предках-англичанах, немцах или норвежцах. Что происходило бы с этими людьми в течение последнего столетия? Они, как надо полагать, жили бы в своих городах и весях, перенесли бы две мировые войны, и кого-то бы семьи не досчитались, но жизнь продолжала бы длиться своим чередом, неся с собой обычные экономические и социальные перемены. Безусловно, значительное отличие от такой картины мы могли бы увидеть в русской семье в одном из городов или сел России: революция, репрессии, периоды коллективизации и индустриализации, опустошительная война с Германией повлияли на уклад и судьбы семей в России несравнимо разительнее, чем то, как влияла история на жизнь граждан других стран Европы. Что же до живших в России евреев, то их семьи затронуло все, касавшееся других, но в дополнение к тому и многое иное... И в частности, из этого "иного" я попытаюсь выделить то, что называю здесь "семейной миграцией", — процесс, в котором перемешаны причины социальные, культурные, идейные, политические и экономические, в котором история переходит в географию, а акты личной инициативы то и дело проявляются как результат общественных движений или насильственных действий властей.

Рисуя картину семейной истории, я хотел бы объяснить заранее, что беглость и перечислительность при упоминании тех или иных имен или событий в этом разделе намеренная, в дальнейшем я, разумеется, вернусь ко всему, что следует (или возможно) описать в деталях. Пока — это лишь первый и предварительный круг знакомства с семьей поколениями. По сути дела, я даю не больше чем комментарий к приложенной здесь схеме семейной миграции примерно за столетие.

СХЕМА СЕМЕЙНЫХ МИГРАЦИЙ (1870-е — 1970-е годы)



Или, говоря иначе, я предлагаю обозреть историю семьи с высоты птичьего полета — тем более, что и птицы летают — мигрируют семьями, и когда они летят, земля лежит под ними, как географическая карта.

Взглянем на карту и мы. Перед нами западная часть Российской империи, территории нынешних Белорусской ССР и Польши. Это, конечно же, часть площади небезызвестной черты оседлости евреев. Мы должны остановить свой взгляд на районе Минска-Бобруйска-Слуцка и на районе в километрах четырехстах к юго-западу — на Волыни. Первый из этих двух районов — места, откуда ведет свое начало материнская линия моего рода, второй — откуда исходит линия отцовская.

Годы 1830-е — 1840-е должны быть поставлены во главу хронологии: деды моих дедов — первое из семи поколений — родились примерно в этот период.

В Бобруйске начинает свою деятельность раввин Натан Рубин, у которого около 1860 года рождается сын Ирмияху, принявший затем фамилию Рабинович. Он тоже живет в Бобруйске. В местечке Уречье (25 км к юго-востоку от Слуцка) живет раввин Пешин. Его дочь Хана Фейга выходит замуж за Ирмияху Рабиновича, и у них в 1883 году рождается сын Шмуэль Давид. Это мой дед — отец матери.

Отцовская линия формируется на Волыни. Мой отец говорит, что в семье, кроме известного по документам города Кременца, упоминались и две деревни Малые и Большие Деберкалы. Возможно, что именно в Кременце жил старший из упоминаемых в документах моих предков по этой линии — тоже дед деда. Его дочь вышла замуж за Иехошуа Арье (Шая Лейба) Розинера, который был родом, по-видимому, из польского города Люблина. Шая Лейба служил у арендатора небольшого имения, возможно, связанного с упомянутыми деревнями. В этой семье Розинер и родился в 1872 году сын Вульф (Владимир). Это мой первый по старшинству дед — отец отца.

Именно дедам и их братьям и сестрам суждено было встретить, уже в возрасте достаточно зрелом, все то,

что принесло с собой начало и продолжение века. То, что я назвал "семейной миграцией", начинается с них. Однако мигрировали, причем вынужденно, и в предыдущем поколении со стороны отца. Если на территории Царства Польского евреям в 1862 году разрешили приобретать недвижимость и селиться во всех городах и местечках (можно думать, что это разрешение и позволило Шаю Лейбе и его семье жить в деревне), то спустя двадцать лет, в 1882 году, изданные министром внутренних дел "Временные правила" селиться в деревнях запретили даже в пределах "черты оседлости", как и арендовать земельные угодья. Родители деда перебираются в город — к старику, отцу жены Шаи Лейбы, но потом, уже, вероятно, в начале 90-х годов, они вынуждены покинуть и город из-за выселения евреев за "50-верстную черту".

Третье поколение — мои деды — кто раньше, кто позже, кто более, кто менее решительно, — прорывают "черту оседлости". Причем направления их миграций различны, и связано это, как следует предположить, с тем, сколь их семьи были затронуты эмансипацией. Оба деда учились в хедерах. Но уже старший брат деда Вульфа — Лазарь в 1880-х годах учится в Петербургском, затем в Дерптском университетах, а еще два брата — в университете Одессы. Другой дед, Шмуэль Давид, был, однако, послан по традиции своей семьи раввином в иешиву в город Минск. Но он раввином не становится, перестает молиться, и для него религия остается скорее средоточием этических ценностей, чем мистической догмой и набором канонических правил. Он "уходит от прошлого" нелегко, тогда как его младшие сестры эмансипируются быстро, одна из них учится на Фребелевских курсах в Киеве, другая в гимназии, и т. п.

Процесс вовлеченности в жизнь, текущую "вне еврейства", решительно сказался на третьем поколении отцовской линии, хотя его представители были на десять и больше лет старше параллельного поколения в линии матери. Придя к началу этого века, мы видим

одного из дедов — Вульфа Розинера, который в Варшаве успел получить опыт в книжной торговле, уже открывшим в Одессе магазин издательства А. Ф. Маркса, а другой из этого поколения — Лазарь Розинер — работает у того же Маркса в Петербурге. То есть оба брата трудятся уже на ниве русской культуры — почти буквально на "ниве", так как Лазарь руководит изданием знаменитых литературных приложений к "Ниве" — известнейшему русскому журналу дореволюционной поры.

Итак, отцовская линия как будто окончательно становится, говоря в известных терминах, ассимиляторской и пускает корни в столицах и крупных городах России. И в то же время линия материнская, отойдя от еврейства религиозно-ортодоксального, оказывается в сфере влияния идеологии сионизма: Шмуэль Давид Рабинович становится активным пропагандистом движения и мечтает о Палестине. Но первой, в 1913 году, отправляется в Палестину одна из его сестер — Нехама, открывая новую полосу в миграции семьи.

Меж тем вступает в жизнь поколение "номер четыре", к которому принадлежат мои будущие родители. И поначалу кажется, что им идти уже проложенной дорогой. Отец и оба его брата учатся в одесской гимназии; мать была отправлена из местечка в Бобруйск для того, чтобы она могла там учиться под наблюдением своих юных теток — студенток и гимназисток. Но пришедшая Мировая война и, главное, большевистская революция меняют все. Новые веяния и идеи, новые возможности, разруха и голод, — все это прямо сказывается на дальнейшем ходе семейной истории.

В 1920 году Шмуэль Давид Рабинович осуществляет свою давнюю мечту и уезжает в Палестину. Семья его остается в России: жена с младшими из детей — в местечке Узляны, старшие дети, в их числе моя будущая мать, — в Москве и Подмосковье. Они приезжают в Палестину спустя два года, в 1922-м.

Три брата Розинер, юноши двадцати — восемнадцатилетнего возраста решают, что лишь настоящий, то есть физический труд должен быть их дорогой в жиз-

ни и что пройти эту дорогу нужно в Палестине, где евреи строят свое будущее. И из Одессы они уезжают тоже туда, оставляя в России родителей.

Ветвь материнской линии приживается в Палестине: четыре брата и сестра моей матери выросли тут, у них в свою очередь выросли дети — мои двоюродные братья и сестры, — поколение пятое, уже поколение "сабр", давшее начало шестому, и теперь вот, совсем недавно — двум представителям седьмого поколения...

Ветвь отцовскую постигла участь иная. Старший из братьев умер в Палестине молодым. А двое других вернулись в Россию: отец вместе с моей матерью (в Палестине они встретились и стали мужем и женой) выехали по своей воле, младшего брата отца выслали англичане.

К моменту, когда появились на свет мой старший брат (в Ленинграде) и я (в Москве), в России живут, кроме нас с родителями, также младший брат отца Александр, их мать — наша бабушка Лиза, а из родственников матери — брат и сестры ее отца Шмуэля Давида со своими детьми.

В 1938 году мать арестовывают. Чуть раньше, в декабре 1937-го, арестовывают и дядю Шуру. В 1939 году мать выпускают. Дядя Шура гибнет в 1938-м. И мы живем в Москве. Живем как все и со всеми. Одно поколение работает и стареет, другое учится и растет.

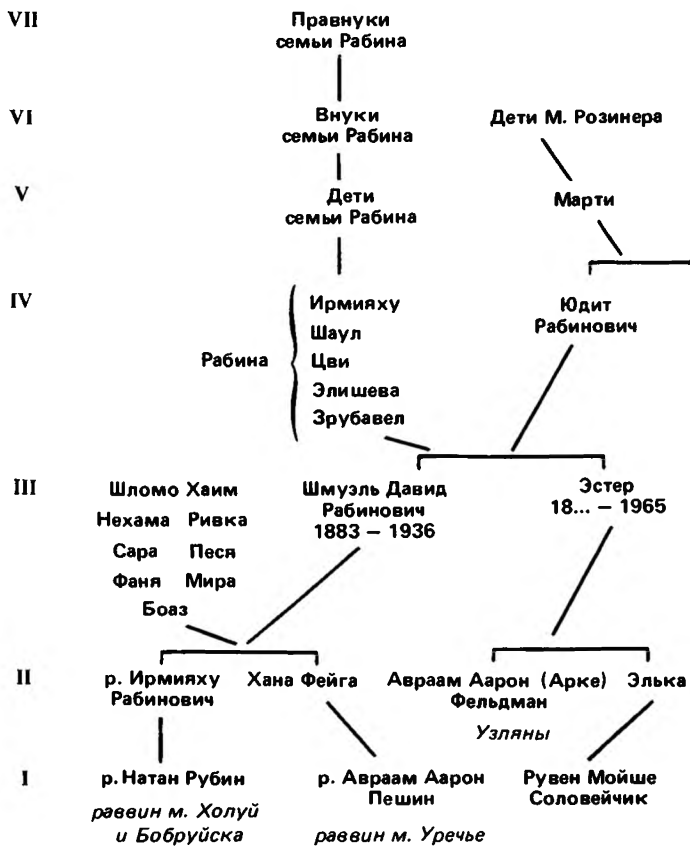
Я почувствовал себя человеком достаточно зрелым в начале 60-х годов. В начале 70-х уже было ясно, что из России следует уехать. В январе 1977 года приехал в Израиль мой пятнадцатилетний сын. В июле вернулись в Израиль мои родители.

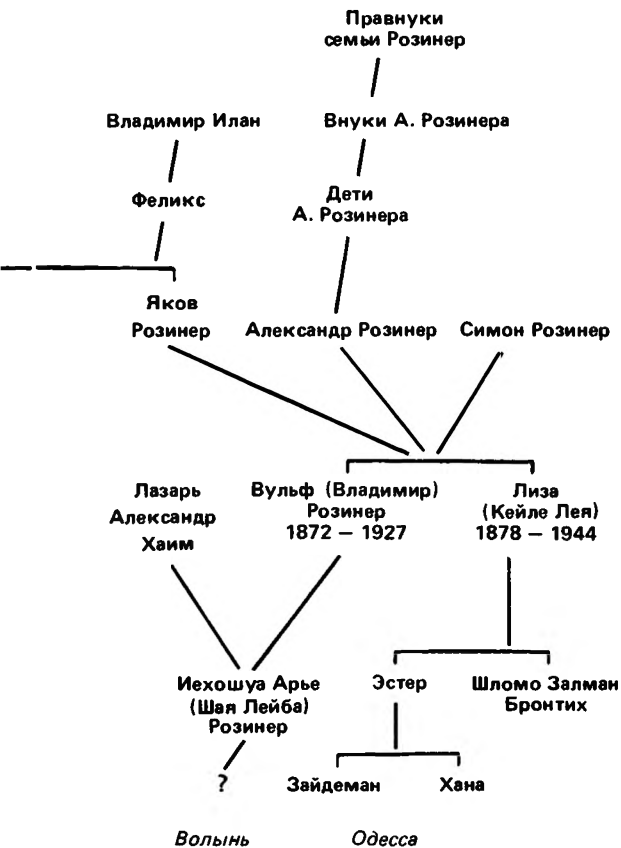
В ноябре года следующего (1978) приехал в Израиль и я, и до сих пор я не перестаю задаваться вопросом, šťastливое ли стечение обстоятельств или общий закономерный ход событий стал причиной того, что все мы благополучно прибыли сюда.

Таковы пути этой нашей семейной миграции. Большинство из нас — здесь. А кто-то — там... И кто-то где-то еще... И жизнь идет, и будущее поколений все еще не видится в ясном свете...

СЕМЬ ПОКОЛЕНИЙ

СЕМЬ ПОКОЛЕНИЙ





ГЛАВА ВТОРАЯ

ВРЕМЕНА ПРАДЕДОВ

Если я никогда не стану богатым, то это будет потому, что дед Шмуэль Давид дал мне кровь людей, умевших не богатеть.

Мои родственники мне объяснили, что у евреев была традиция отправлять детей неимущих членов общины учиться Торе. "Почитайте бедных, потому что Тора исходит от них", — так сказано об отношении к бедности.

Был человеком бедным, но просвещенным светом Торы один из столпов семьи раввин Натан Рубин. Мой дядя Ирмияху сказал о нем, что он вышел из среды тех, кто жили на хлебе, соли и воде и спали на полу, подложив солому. Был он первоначально раввином в местечке с неблагозвучным названием Холуй, в 45 верстах к северо-западу от Бобруйска, на реке Свислочь. При советской власти, когда прежние холуи забыли о своем прошлом, а новые холуи звались уже "слуги народа", решили название местечка за ненадобностью упразднить и придумали вместо прежнего новое: Липень, что на новых картах и надо искать. Обращу, кстати, внимание еще на одно красивое название на карте минско-бобруйского района. Озеро, имеющее на советских картах имя "Червоное", то есть "Красное", на старых картах писалось так: "Озеро Князь (Жид)".

Раввин Рубин пробыл в местечке Холуй до 1878 года, а потом свыше четырех десятилетий жил в Бобруйске. Но и там, не забывая историю о том, как появился он в городе, продолжали звать его "дед Холай-рав" ("дед — раввин из Холуя"). История же была такова. В Бобруйске жил владевший миллионным состоянием богач по имени Ицхак Рабинович. Вероятно, он был большим самодуром — в соответствии со своим богатством — и, разумеется, желал влиять на все происходившее в общине. Но однажды община назначила раввина, не посоветовавшись с Рабиновичем, что его страшно разозлило. Зная, что в Холуе живет раввин, славившийся ученостью и мудростью, он "купил" его, привез в Бобруйск, устроил для него синагогу и дал ему прекрасное жилье. Натан Рубин стал семейным советником у богача Рабиновича, и так как его авторитет раввина рос, то и общине пришлось отнестись к нему с должным почетом. Со временем он стал Бобруйским раввином, причем занимался не только делами рабанута, но и принимал участие во всем, что касалось жизни общины. Он был крупным религиозным ученым, и ссылки на его имя встречаются в целом ряде трудов, написанных в Воложине — известном центре иудаизма.*

Моя мать помнит этого своего прадеда во времена, когда тот был уже глубоким стариком. Девочкой живя в Бобруйске, она вместе с бабушкой каждую субботу после молитвы в синагоге отправлялась к старому раввину, чтобы поздравить его. Он вручал правнучке что-нибудь — то копейку, а то яблоко, бабушка же еженедельно получала от него в четверг серебряный рубль на подготовку субботы.

У Натана Рубина и жены его Ходес было трое детей: два сына — Зеев и Ирмияху и дочь Сара Лея. Получилось так, что сыновья Натана не стали наследовать его

*Сведения о Натане Рубине и о связанном с ним имеются в двухтомнике "Бобруйск", Т.-А., 1967 (ивр.), стр. 289, 313, 318, 770.

место раввина. Почему это произошло, неизвестно. Я ничего не могу сказать об образовании Зеева, который был старшим. Семейная ветвь, идущая от Зеева Рубина, разрослась и пустила новые ветви в Америке.

Ирмияху, родившийся около 1858 года, учился много. Закончив иешиву и женившись, он на несколько лет ушел из семьи в, так сказать, "ученое отшельничество". Но став образованным в еврейской науке, Ирмияху в силу ли его личных свойств, в силу ли неизвестных нам обстоятельств, место раввина от отца не получил. Перешло же это "наследство" от Натана Рубина к дочери Саре Лее, на которой женился раввин Цви Дабкин. Он и сменил своего знаменитого тестя на его должности Бобруйского раввина. Занимал раввин Дабкин это место до послереволюционного времени. В 1920-х годах он и Сара Лея выехали в Палестину. Они поселились в Хевроне. Там в 1929 году во время резни они, как и вся еврейская община в Хевроне, были убиты арабами. Потомки Сары Леи и раввина Дабкина живут в Израиле.

Из троих детей Натана Рубина только у Зеева сохранилась фамилия отца. По причинам не очень ясным его сын Ирмияху, мой прадед, принял фамилию Рабинович, которая до недавнего времени еще стояла в паспорте моей матери. Чуть было и я не стал обладателем этой фамилии. Мне было меньше семи лет, когда, вернувшись из военной эвакуации обратно в Москву, мы с мамой отправились в домоуправление, чтобы оформить какие-то документы. Возможно, что мне должны были там выписать справку для поступления в школу. Женщина, раскрывшая домовую книгу, удивилась странным нерусским фамилиям моих родителей и спросила, какая же из них должна быть у меня? Мать обратилась ко мне: "Ну, какую ты хочешь носить фамилию? Папину или мамину?" Я думал недолго. Показалась ли мне отцовское "Розинер" благозвучнее, чем "Рабинович"? Или я чувствовал себя сыном более "папиным", нежели "маминым"? Я ответил: "Хочу папину", — и с тех пор ношу ее. Вообще, вопрос мате-

ри был довольно странным. Правда, в эвакуации, где мы жили без отца, я, вероятно, числился в детском саду и в каких-нибудь бумагах как "сын Рабинович". Но мой брат, давно уже ходивший в школу, был Розинер, да и вообще в советской России оставалась общепринятой традиция давать детям отцовскую фамилию. Правда, что не случается у евреев! Если бы я сказал тогда "хочу мамину", — то возродил бы Рабиновичей в мужской линии, которые, если не ошибаюсь, в предыдущем поколении прекратились.

Объяснений, почему Ирмияху, сын Натана Рубина, стал Рабиновичем, существует несколько. Первое — самое простое и наиболее правдоподобное — связывается с известным способом использовать закон, по которому единственный сын освобождается от военной службы. Записав под другой фамилией одного из сыновей, можно было представлять второго как единственного. Этот прием, подобно изменению даты рождения для отсрочки от призыва, практиковался в еврейских семьях довольно часто. Другое объяснение предполагает, что фамилия Рабинович появилась по какой-то связи с богачом Рабиновичем, который облагодетельствовал Натана Рубина, например, в знак уважения к тому. Это объяснение, кстати, вовсе не исключает первого и может его дополнять. Объяснение третье возникло как импровизация, когда недавно на семейном собрании братьев и сестер — внуков Ирмияху Рабиновича речь зашла о книге "Агада шель Песах", которую привезла с собой из России моя мать. Книга принадлежала их деду Ирмияху и хранилась долгое время в Москве у его сына Шломо Хаима до смерти последнего. Затем его дочь Хана Гита вместе с другими еврейскими книгами передала "Агаду" моей матери. Помимо того, что книга старая и что она является памятью о моем прадеде, интересна она и тем, что его рукой в книгу вписаны даты рождения всех его девяти детей! Не менее любопытна книга и потому, что подарил ее Ирмияху Рабиновичу автор помещенных в ней комментариев к пасхальной агаде раввин Шломе

Рабинович, который к нашей семье не имеет никакого отношения. И вот, на упомянутой семейной встрече кто-то — кажется, дядя Цви — стал размышлять вслух: может быть, что раввин Рабинович был большим ученым, и может быть, дед Ирмияху был его учеником и хранил эту книгу как реликвию, и может быть, он даже и фамилию сменил в честь своего учителя!.. Дядя Ирмияху стал возражать, говоря, что этому нет никаких доказательств, ему, однако, ответили, что раз в эту книгу дед вписал имена детей, значит она была для него особенной книгой... В общем, разгорелся бурный спор, из которого я заключил, что благоговение перед книгой свойственно этому поколению семьи в не меньшей степени, чем поколениям предыдущим, в которых было немало "людей Книги". Это была интересная сцена, и не беда, что загадка появления в роду Рабиновичей так и не разрешилась.

Мой прадед Ирмияху Рабинович, учившийся много, не получил, как видно, "многой мудрости" ни от долгих лет учения, ни от своего ученого отца. Он предстанет в семейных рассказах героем различных курьезных историй и как человек наивный и, возможно, без особых способностей. Надо думать, что самым большим его жизненным достижением была женитьба на Хане Фейге, дочери Авраама Аарона Пешина, раввина в местечке Уречь.

Местечко это отстоит от Бобруйска на добрых 90 верст к западу, то есть расположено близко к Слуцку, на юго-восток от него. На карте Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона местечко помечается как большое село, где есть синагога, церковь, костел, больница и школа, но нет ремесленного училища. "Еврейская энциклопедия" Кацнельсона приводит данные, по которым в Уречь на конец прошлого века было 509 жителей, из которых евреи составляли 483 человека.

Раввин Пешин (или Песин по звучанию на идиш) по своим качествам ученого и мудреца был, по-видимому, под стать Натану Рубину. С фотографии на нас смотрит

серьезное и замкнутое, чуть скуластое, восточного типа лицо умного и, как видно, крепкого старика. На обороте фотографии рукой Нехамы, его внучки, написано: "Дедушка, отец мамы. Известный в краю математик-самородок".

Что означает странное выражение "известный в краю математик" — трудно сказать. Но говорит это прежде всего о том, что интеллектуальные интересы Пешина простирались за пределы его раввинских дел.

Раввин из Уречья передал, как видно, своей дочери Хане Фейге то, что, увы, не смог дать сыну Ирмияху раввин бобруйский: немалый ум, а также широту житейского кругозора. Судя по всем свидетельствам, Хана Фейга, став женой Ирмияху, взяла в свои руки бразды правления домом. Способствовало этому и то уже упомянутое обстоятельство, что спустя год или два после женитьбы Ирмияху ушел из дому на пять лет ради занятий Торой. Его внук и тезка, мой дядя Ирмияху Рабина, этот срок определил и датировал по годам рождения детей своего деда: после того, как родились Шмуэль Давид в 1883-м и Шломе Хаим в 1884 году, следует перерыв до 1889 года, в котором родилась дочь Нехама, а затем — в 1891, 1892, 1894, 1896, 1899 и в 1904 годах рождаются остальные дети — числом девять. (Последний — Боаз умер очень рано).

Сначала Ирмияху Рабинович жил с женой в ее местечке, то есть в Уречье, но через несколько лет семья переехала в Бобруйск. Хана Фейга вела дом. И в Уречье и в Бобруйске она держала небольшую лавочку, помогавшую едва сводить концы с концами. Натан Рубин оказывал семье сына некоторую поддержку. Позже, по возвращении Ирмияху из добровольного ученого отшельничества, он, не став раввином, взялся за работу "коллектора". Сегодня, с исчезновением в России (да и не только в России) множества прежних профессий, можно только догадаться, что это была работа, связанная с товарными и финансовыми делами. Возможно, это было ведение бухгалтерских дел, или посредничество при оформлении заказов и т.п.

Ирмияху не знал русского языка и даже не научился расписываться. Хана Фейга брала на себя немалую долю его работы, и зная, что она в курсе всех дел мужа, почтальоны, например, несли корреспонденцию сразу к ней, и за получение заказных писем она же расписывалась вместо мужа. Внуки (прежде всего Ирмияху Рабина) предполагают сегодня, что именно она, их бабушка, поняла, что жизнь меняется, что детям следует знать не только старые традиции еврейства, но полезно также и учиться русскому языку и получить светское образование. Но возможно, что это понял и сам дед Ирмияху, который без нужных знаний не мог самостоятельно вести дела. Позже стал помогать ему старший сын. Тут наступают времена вступления в самостоятельную жизнь другого — следующего поколения. Повествование об этой жизни содержится в записках — воспоминаниях моего деда Шмуэля Давида. Однако начало воспоминаний рассказывает о детстве и юности моего деда и относится к описываемым здесь "временам прадедов". Поэтому уместно перейти сейчас к первым страницам его записок. Но предварительно — несколько слов о них.

Мой дед писал свои воспоминания еще в России, вероятно, в 1918—1919 годах. Они записаны карандашом в обыкновенных тетрадах. Писал он на иврите, который сильно отличается от сегодняшнего. Даже Ирмияху Рабина, самый большой в семье знаток языка, истории и иудаизма, не всегда был уверен, что точно понимает значение того или иного слова в тексте. Ирмияху сделал более современное изложение воспоминаний. Я слушал этот текст в переводе на русский, делая по мере чтения подстрочную запись. То, что будет приведено мною в этой книге, является моей литературной обработкой перевода на русский язык. Я хочу надеяться, что сумел сохранить в своем изложении стиль воспоминаний деда. Во всяком случае, их фактологическая сторона передана достаточно верно.

Комментарии внутри текста даются в скобках и помечаются моими инициалами: Ф. Р.

От детства у меня осталось мало воспоминаний. Я рос под влиянием своего деда ребе Натана Рабиновича, который был раввином в Бобруйске и у богача – отца Боаза Рабиновича (см. упомянутую книгу "Бобруйск". – Ф. Р.). Я отличался от других детей моего возраста и одеждой, и пейсами, и тем, что молился. Это затрудняло мое общение с ними, и я привык быть в отдалении от сверстников.

Помню, как однажды я вошел в комнату, где была компания весело настроенных ребят. Желая подшутить, они толкнули меня к кушетке, на которой сидела девушка. Трудно представить, как горько я плакал. А они все смеялись. Невозможно передать, как ревностно я исполнял все *мицвот**. Но о религии и о Боге я, конечно, многого не знал.

Отец дома не жил: он учился в иешивах – в Воложине и других местах. Помню, что мать рассказывала про папу: "Он был подростком, когда его однажды спросили, как зовут его мать. Он ответил: "Не знаю. Отец, обращаясь к ней, говорил "дай, пожалуйста", "будь добра", посторонние говорили ей "ребец", а я звал ее "мама"..."

Мы жили в маленьком домике. Мать шила – одежду, шапки, передники, и была небольшая лавка, где мать сама продавала то, что сделала. Она трудилась и растила детей, и это была обычная жизнь женщины, чей муж учил Тору.

Я был отдан под наблюдение деда и делал все, что он велел. Моя рука всегда лежала в его ладони. Он брал меня на колени и учил меня молитвам. Он читал

* Переводы и значения ряда понятий, названий и т. п. даются в кратком пояснительном словаре (в конце книги).

слово за словом, а я повторял за ним прочитанное. Он благословлял меня: "Чтобы был ты велик в Израиле и велик в своем поколении". Все детство мое прошло с ним, я следовал его привычкам, вместе с ним сидел за стол, и самые лакомые кусочки он оставлял для меня, давал мне сладости и снабжал меня карманными деньгами. И в ответ я старался всем понравиться дедушке.

Деда со стороны своей матери я не знал. Но она рассказывала мне о раввинах из Уречья — местечка, где я родился.

Пошел я в хедер. Это был самый лучший хедер в округе. Занимались мы в квартире ребе за большим столом: на одной половине ребецн занималась своими хозяйственными делами, на другой половине шло ученье. Раввин принимал участие во всем, что происходило в комнате. Когда к хозяйке заглядывали соседки, начинался разговор, в который вмешивался и ребе. Если что-то случалось на улице, о событии спешили поведать раввину. Тогда ученики прекращали занятия и внимательно слушали, о чем говорили взрослые.

Нередко между учениками возникали ссоры. Ребецн выясняла, кто зачинщики, и говорила: "Всыпь вот этому или этому!.." Ее обычным стилем обращения с учениками были проклятия. Проклятия раздавались по всякому поводу: не закрыл дверь, расплескал воду, прошел мимо, когда она зажигала печку, — на все ребецн щедро сыпала проклятиями.

От монотонности занятий ребе засыпал. Он громко говорил стих Пятикнижия, за ним каждый по очереди начинал повторять эту фразу, а он при этом понукал учеников: "ну... ну... ну..." — и засыпал. И мы начинали говорить шепотом, чтобы он подольше не проснулся. Но если кто-то, расшалившись, будил его, то ребе, вдруг проснувшись, хватал палку и высыпал тому, кто попадался под руку. Доставалось, однако, тем, кто был из бедных.

Ученики частенько баловались. Стол мазали смолой. Засыпая, ребе клал на стол бороду, и она прилипала.

Если он выходил, то в сиденье стула вбивали гвоздь. Никто в этих проделках не признавался. Еще крали у ребе ремень, которым нас учили хорошему поведению. Ремень же шел в ход, если ученик запинался, не зная, что нужно ответить, или если говорил слишком медленно.

У меня с учением трудностей не было. Я не выделялся среди других. Но если приводили "новенького" и надо было показать успехи своих учеников, я оказывался среди тех, кого ребе вызывал ответить выученное.

У ребе был помощник — простой парень, который учил нас алфавиту и чьей обязанностью было провожать самых маленьких после занятий домой — темными зимними вечерами или во время дождя. Это входило в условия договора с родителями. Он тоже относился к ученикам в зависимости от их происхождения: того, кто был "из хорошей семьи", он, провожая, мог даже взять на руки, другим же оставалось идти кто как может... Я был внуком раввина, и ребе ко мне относился с вниманием. Ведь если я дома скажу, что ребе мне не нравится, и меня от него заберут, то и другие тоже могут последовать этому примеру. Он даже брал за меня меньшую плату, но просил, чтобы другим говорили, будто плата за меня такая же, как и за остальных.

У нашего учителя-ребе дом был бедный, и мы это чувствовали, когда нам давали поесть: еды не хватало, и мы из-за этого ссорились между собой. Ребе и помощник взвешивали пищу, делили и раздавали ее нам.

Каждый из нас должен был приносить керосин для лампы. А если ламповое стекло лопалось, мы приносили по грошу на покупку нового.

Учились в хедере с 8 часов утра до 8 вечера. Был только часовой перерыв в полдень и получасовой вечером. Вместе занимались четыре-пять групп из детей разного возраста. Каждую такую группу составляло несколько сверстников. Учитель занимался полчаса с одной группой и переходил к другим.

На уроке учитель переводил Пятикнижие на идиш, но обычно ученики все равно ничего не понимали. О грамматике, правописании и арифметике не было и речи: только Пятикнижие и Гемара.

Гемару я начал учить на восьмом году жизни. Лет в десять, когда отец уже был дома, мне наняли молодого учителя, который стал учить меня грамматике и арифметике, потом был еще один парень, тоже занимавшийся со мной грамматикой и письмом.

Тринадцати лет я отдан был в иешиву для того, чтобы мог утолить свою душу, черпая из моря Талмуда.

За три месяца до тринадцатилетия я начал накладывать *тфиллин*. Все это время я готовился к *мицвот*. К назначенному сроку я приготовил отрывок из Талмуда. Собрались гости, и был устроен большой ужин, на котором мужчин было больше десяти миньянов, среди них много раввинов. Мою речь все очень хвалили.

После этого я поехал в Щедрин к дяде — брату моей матери и там стал учиться в иешиве. (По-видимому, Щедрино — местечко в 25 верстах к юго-востоку от Бобруйска. — Ф. Р.).

Я был усердным учеником и окунулся в море учения с большим желанием. Но продолжалось это недолго: я был слишком юн, и дядя отвез меня домой. Тогда же, в Бобруйске, я записался в библиотеку и с увлечением начал читать светскую литературу.

Затем отец повез меня учиться в Минск. Он отдал мне последние гроши, так что ему пришлось занять денег на свою обратную поездку в Бобруйск. На случай, если мне станет жить совсем тяжело, отец посоветовал пойти к богатому дяде, жившему в Минске. Деньги, оставленные отцом, я отдал посреднику, подыскавшему мне людей, к которым я ходил обедать. Это были разные семьи — на каждый из дней недели по одному дому. И на каждый день была своя плата (субботние и праздничные трапезы требовали особых расходов. — Ф. Р.). Так я начал жизнь настоящего ешиботника на положении "обедающего".

Жилье дала мне сестра матери. Так как я занимался сутками напролет, то часто к тетке не возвращался и ночевал в синагоге. Однажды, идя из синагоги в темноте, я наткнулся на воров, которые занимались каким-то своим грабительским делом. Увидев неожиданного свидетеля, они хотели ударить меня по голове, я подставил руку, на которую и пришелся весь удар. Это происшествие еще больше отвратило меня от желания ходить поздно ночью по улицам.

Занимался я с большим усердием. Распорядок в иешиве был таков: на каждые 55 минут занятий — пятиминутный отдых. Я жалел, что пропадают эти пять минут, и выгадывал на них еще 50 минут на учебу. Учился же я по 18 часов в сутки. Мое усердие не оставалось незамеченным. Однажды пришел ко мне человек, которого послал глава иешивы, чтобы сватать за меня свою дочь. Мне было 14 лет, я даже не понял, чего он хочет от меня, и предложил, чтобы он поговорил с моими родителями. Я обращал на себя внимание и на улице, и женщины, когда я шел мимо, благословляли меня и повторяли: "Дай Бог мне такого сына, как этот юноша". Но постепенно от всего этого во мне ничего не осталось...

Понюхав науку, я о многом стал думать иначе. Я находил уже необъяснимые вещи. Однажды я перестал читать молитву. В первый день, когда я не молился, мне пришлось испытать не особо приятное чувство, и я был в тяжелом состоянии. Я это пережил, но, перестав молиться, учебу продолжал. Трудно было жить одному, среди чужих людей, без родителей, я переходил из иешивы в иешиву, а в 16 лет вернулся домой. После этого я уже полностью оставил иешиву и начал учиться самостоятельно.

(Описываемый далее период — как раз на рубеже прошлого и нынешнего столетий. — Ф. Р.)

В Бобруйске я занимался в группе, куда собрали наиболее одаренных учеников из многих иешив. Руководил нами р. Иозл. Он заботился о том, чтобы каждый

из нас получал практическую помощь, был обеспечен небольшой стипендией и пропитанием. Мы учились самостоятельно и избирали предметы по своему усмотрению, но несколько уроков всегда проводились совместно. Тогда все собирались и занимались одним из обязательных предметов. Таким был, например, получасовой урок "морали". Совместные занятия устраивались поздно, после вечерней молитвы, чтобы ходившие в синагогу могли успеть вернуться из нее. На этих занятиях царило особенное настроение. Перед тем, как разойтись, произносили последнюю молитву, и тогда ее мелодия, и наступающая ночь, и мистическое чувство приподнятости сливались в одно незабываемое впечатление. Снаружи стояли люди и слушали наше пение, доносившееся к ним из окон...

Дед Натан Рубин считал, что светские науки мне ни к чему. Он говорил: "Твой отец и без этого хорошо справлялся с делами". Но сам отец думал иначе. Отсутствие светских знаний мешало ему, так как он не умел даже расписаться по-русски. Отец был "коллектор", он вел большую переписку, и у него был секретарь, которого я заменял сколько мог. Все письма шли к матери, и если были заказные, то расписывалась она.

Хотя дед не хотел, чтобы я получал нееврейское образование, ему не удалось настоять на своем. Отец нанял мне учителя русского языка, а чтобы я учился, давал мне несколько копеек. Дедушка же, чтобы я не учился, тоже давал мне деньги. И еще он устраивал так, чтобы я проводил у него тот самый час, на который были назначены занятия. Я приходил к деду с книгами и оставлял их где-то во дворе. Но не раз случалось так, что припрятанные мною книги кто-то воровал...

В конце концов дед увидел, что его деньги не помогают и мое учение продолжается. Тогда он решил отослать меня в маленькое местечко, где нет культуры и где я не смог бы заниматься нееврейским образованием.

Меж тем, в доме у нас уже происходили разные перемены. (Ш. Д. употребляет здесь слово "переворот", "революция". — Ф. Р.). Сестра Нехамма училась, сестра Сара кончила гимназию и посещала университет в Киеве, в гимназии училась сестра Мира. (Как видно, Ш. Д. здесь или допускает анахронизм или упоминает о сестрах без точного обозначения времени: в описываемый им период — около 1900 г. — Нехамме было примерно десять лет, Саре восемь, а Мира только родилась. — Ф. Р.). Сестры помогали одна другой, и то, что они учились, влияло на весь уклад жизни в доме. Я завидовал им. И это было одной из причин, повлиявших на то, что я оставил дом (вероятно, это можно понимать как объяснение того, почему позже Ш. Д. не возвратился в Бобруйск, к семье отца — Ф. Р.): в доме все уже получали образование.

Была еще одна причина. В Бобруйске знали, что мы из семьи Рубиных, но у меня, как и у отца, была фамилия Рабинович. Поэтому перед призывом в армию я должен был отправиться туда, где меня не знали. У нас с братом была разница в один год, но я хотел, чтобы меня записали много старше: тогда брат окажется намного младше меня, и это позволит отсрочить его призыв.

Поехал я в Уречье — к раввину, моему деду со стороны матери. (Напомню, что это раввин Пешин. — Ф. Р.) В эту пору я впервые почувствовал себя свободным и мог сам решать, чем заниматься, когда учиться и когда отдыхать. Этот мой дед совсем не вмешивался в дела внуков и не считал нужным говорить что-либо по поводу их образа жизни.

В Уречье я собрал необразованных простых парней и стал заниматься с ними. От службы синагоги мы за деньги получали во временное пользование, как из библиотеки, книги. Занимались мы естественными науками, знакомились с идеями сионизма, социализма и т. п. Я уже слышал, что существуют такие общест-

венные движения, — почему же, думал я, не познакомиться с ними?

В моем кружке были сапожники, плотники — люди простого происхождения, и это стало причиной раздоров между мной и семьей деда. "Какое ты имеешь отношение к этим людям? Ты позоришь нас!" — говорилось мне, и дед пообещал, что не станет кормить меня, если я не прекращу свои занятия. Он собирал раввинов, чтобы те меня вразумляли, но я спорил с ними, доказывая, что учить простых людей — наша обязанность. Какой смысл в нашем происхождении, говорил я, если мы будем этих людей отталкивать? Напротив, их надо возвышать до нашего уровня! И я оставался верен своему убеждению. Мы продолжали устраивать встречи, вечерние чтения, обсуждения разных проблем. Встречались мы в лесу за местечком, так как, во-первых, боялись наших родителей, во-вторых, боялись властей, и в-третьих, у нас просто не было другого места... Это была первая из организованных мною групп.

Когда мне исполнилось 18 лет, я предстал перед призывной комиссией. Для этого пришлось отправиться в г. Игумен (уездный город к востоку от железной дороги Минск — Бобруйск, примерно в 60 верстах от Минска. — Ф. Р.). Ожидавшие призыва парни были из простонародья, они могли, не задумываясь, и пускать в ход кулаки. Многие не хотели идти в армию, и некоторые ради этого наносили себе увечья. Сильным, боясь, чтобы те не доносили начальству, платили деньги.

Я проявил активность, предложив, чтобы при возникновении общих нужд все решалось без насилия. В результате собрали деньги и устроили общественную кассу.

Комиссия признала меня годным и записала, что мой возраст 21 год. Приехала мать, стала плакать. Но тут ничего не помогало, и мое происхождение не имело никакого значения. Родители хотели обжаловать решение комиссии и просить, чтобы меня записали в нестроевую службу, но я не согласился. Мне

любопытно было узнать, что такое армия, почему все так боятся идти служить.

До посылки на службу я провел некоторое время в Бобруйске уже на казарменном положении. Меня назначили командиром "десятки" (отделения. — Ф. Р.), и на всех десятерых я должен был получать довольствие. Большинство среди нас были неевреи. Призывники-евреи доверяли мне настолько, что не приходили забирать у меня положенное им, зная, что я получу и оставлю для них все, что мне выдают.

Отец, меж тем, старался, чтобы меня перевели пока в другое место, где врачи "лучше", то есть больше берут, и где, может быть, удалось бы договориться о моем освобождении. Но было уже поздно. Однако пока дело тянулось, все уже отбыли к месту назначения, и мне пришлось ехать вдогонку. Перед отъездом сжег я все свои бумаги. (Можно предположить, что Ш. Д. вел дневники или записи и писал стихи. — Ф. Р.)

Я впервые оказался вне еврейской среды. Все время вокруг говорили, что евреи такие и сякие. Это каждый раз возмущало меня, и я начинал спорить. Если кто-то из солдат болел или попадал в трудное положение, я всегда старался помочь ему, и меня за это стали уважать. Я всегда показывал, что евреи такие же, как и все другие. Но я позаботился и о своих товарищах-евреях, когда однажды нам не дали отпуска на еврейскую Пасху. Я обратился к раввину (в рукописи стоит имя "Нурок". — Ф. Р.) того местечка, где мы находились, ходил к нему несколько раз и добился, что евреи получили отпуск. Также я договорился о кошерной пище для евреев и о помощи их семьям.

В армии я пробыл полтора года. Когда дело подошло к стрельбе, выяснилось, что я плохо вижу, и по причине близорукости мне дали освобождение. Все — и евреи, и русские — жалели, что я покидаю их, и при прощании было много поцелуев и объятий...

Из армии я вернулся в Бобруйск. Отец устроил меня учиться бухгалтерии. После курсов отец нашел мне

должность бухгалтера и кассира у лесопромышленника на ст. Жилово Черниговской губернии.

Там я оказался в одиночестве, без друзей и знакомых. Из евреев был лишь старик, стороживший лес. Все свободное время я отдавал учебе. Единственный среди окружающих я получал газету — это была газета *"Ха-цфира"*, я жадно интересовался всем, что происходило в свете.

Сторож-старик жил неподалеку, и члены его семьи приходили к нему. Была у него молодая дочь, которая приходила в лес к отцу вместе с подругами, и мы стали устраивать беседы. Тогда было две темы, волновавшие всех: одна — Кишиневский погром и другая — смерть Герцля. Однажды вечером я получил газету и прочитал в ней: "Герцля нет". Всю ночь я сидел и плакал, и когда утром ко мне заглянул старик, он увидел, что мои книги и записи мокры от слез...

После Кишиневского погрома в торговле наступил кризис, лесопромысловые работы прекратились, и я вернулся домой.

В Бобруйске я стал весь свой энтузиазм и все свое время отдавать работе в группе *"Бней-Цион"*. Я стал активистом группы молодых интеллигентов, в которой в общей сложности насчитывалось 200 человек. Я был членом комитета и ведал библиотекой. Работа была в определенной степени нелегальной. Шли большие споры и среди самих сионистов и между сионистами и Бундом: бундовцы стремились уменьшить наше влияние на молодежь.

Между собой мы говорили на иврите. Как-то случилось, что приехал уполномоченный из центра организации, собрал всех нас и попытался было говорить на иврите, но остановился и сказал мне: "Говори ты".

Одним из наших важных дел была пекарня для выпечки мацы. Бобруйск был большим городом, где жило много бедняков, которые не могли позволить себе купить на Пасху мацу. Каждая из еврейских партий старалась беднякам помочь. За несколько месяцев до Пасхи мы обходили дом за домом, выясняя, кто нуж-

дается в пособии или не может купить мацу. Многие давали пожертвования. Но многие же стеснялись брать помощь. Однажды вошли в очень бедный дом, где кроме хозяина были его жена и двое детей. Бедняк этот заплакал и сказал: "Может быть, Бог мне еще поможет, и я еще смогу сам купить мацу на Пасху?.."

И вот мы решили каждый раз перед Пасхой сами выпекать мацу для бедняков. Так как изготовление мацы требует быстроты, то мы для этой работы нанимали людей. Нанятым, особенно на отдельных, например, тяжелых работах, мы платили, в основном же работали добровольцы, бесплатно.

Это было трудное время, царило тяжкое настроение после погромов и репрессий против социал-демократов и Бунда. И сами бундовцы делали все, чтобы помешать нашей деятельности. Работа в пекарне должна была оставаться незаметной для властей и полиции, мы все старались делать с осторожностью и без лишнего шума, бундовцы же приходили и начинали громко петь революционные песни. Затем они стали агитировать за забастовку, чтобы оплачиваемым прибавили заработок. Они заявляли, что здесь эксплуатируют рабочих, и не давали работать также и добровольцам. На самом же деле наше предприятие работало не для прибыли, и в нем не было ни эксплуататоров, ни эксплуатируемых. Мы платили работавшим 25 копеек за пуд мацы, но нам самим она обходилась много дороже, так как мы ее раздавали бесплатно. Но все это бундовцев не интересовало, они гнули свое, и случалось не раз, что из-за них, боясь шума, приходилось нам гасить печи. Однако мы свое дело делали, и все вокруг знали, что на Пасху маца у бедняков была благодаря работе сионистов.

Бобруйск я покинул весной 1905 года. Перед отъездом было прощание с товарищами, сидели всю ночь до утра, пили чай и "Кармель" – вино из Эрец-Исраэль, были речи и разговоры, пожелания и благословения. Получил я и послание от организации.

И я женился, и переехал на новое место, в маленькое местечко, где жителей было 150 семей...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ВРЕМЕНА ДЕДОВ УЗЛЯНЫ

Местечко, в котором стал жить Шмуэль Давид, называлось Узляны. Упоминания о нем мне удалось отыскать в двух источниках. "Еврейская энциклопедия" сообщает:

"Узляны (Поляны) мест. Минской губ., Игуменского у. По переписи 1897 г. жит. 690, среди них 658 евр."

Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона (т. 68, 1902 г.) приводит дополнительные и несколько иные сведения:

"Узляны — мест. Минской губ., Игуменского у., на р. Ушанке. Жителей 600. Православная церковь, синагога, базары, почтовое отделение". Этот же энциклопедический словарь дает также возможность — вероятно, единственную, — найти Узляны на карте. Это карта Минской губернии. Местечко находится к юго-востоку от Минска на расстоянии примерно 30 верст от него, чуть западнее от линии железной дороги Минск-Бобруйск.

Сравнивая численность жителей в двух приведенных источниках за 1897 г. и 1902 г. (или несколько ранее), мы видим, что цифра 690 уменьшается до 600. В записках Шмуэля Давида говорится о 150 семьях, живших в Узлянах в период 1905 — 1920 годов, и это должно

составить, по-видимому, те же 600 — 700 человек. "Еврейская энциклопедия" приводит в статье о Минской губернии таблицу, в которой по данным 1897 г. перечислено 75 населенных мест (кроме городов), "в коих не менее 500 евреев". Из таких мест в Минской губернии есть 27, где число жителей меньше тысячи. Узляны находятся среди них. Вывод из этих демографических данных такой: Узляны — местечко одно из самых типичных в своем районе еврейской черты оседлости. И можно утверждать, что жизнь, протекавшая в Узлянах, уклад ее, обитатели местечка и их судьбы, — все это легко может проецироваться на общую картину жизни местечкового еврейства России в первые два десятилетия века. Но, утверждая так, следует сделать одну оговорку.

Вероятно, не в каждом местечке появлялась вдруг такая личность, как приехавший в Узляны из большого города двадцатидвухлетний, образованный и полный энтузиазма Шмуэль Давид Рабинович. Его приезд стал знаком перемен. Он как будто задался целью изменить лицо того закрытого, консервативного, почти изолированного от мира общества, в котором оказался. Идеалист до мозга костей, он занимался, тем не менее, делами вполне земными, практическими, и если преуспел далеко не во всем, то, без сомнения, все же смог оказать на ход тамошней жизни существенное влияние. Следовательно, в Узлянах типичные обстоятельства встретились с нетривиальной личностью, и вот это-то сочетание и делает, на мой взгляд, историю Узлян особенно интересной и значительной.

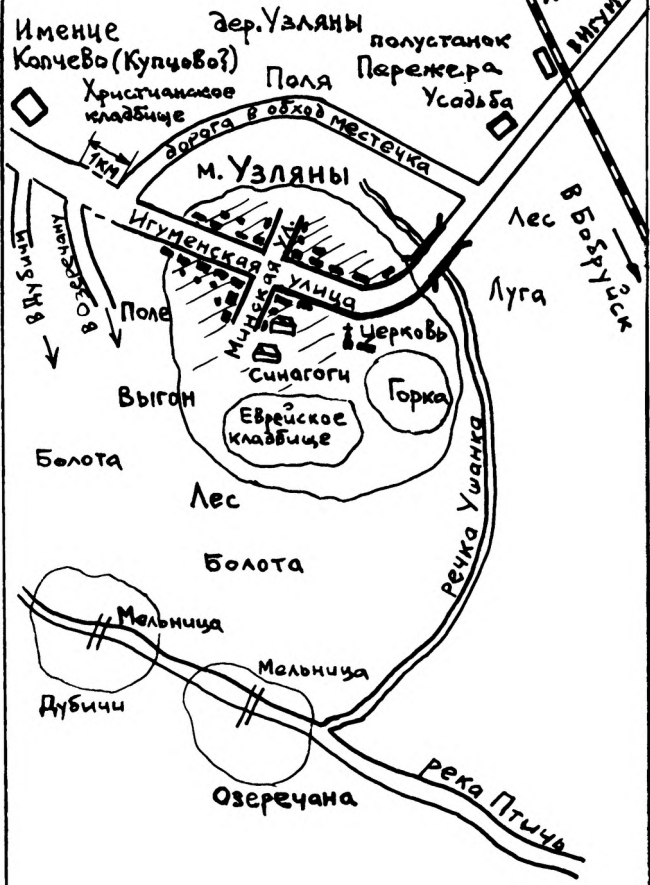
История, если рассуждать о *смысле* ее, заключается в конфликте между обстоятельствами и людьми, между устоявшимся укладом и личностями, этот уклад отвергающими. В разрешении таких конфликтов — масштабов самых различных, от судеб внутри лишь одной семьи до судеб целых народов, да и всего человечества — и протекает то, что зовется историческим процессом. Два первых десятилетия нашего века были богаты, слишком богаты, такого рода конфликтами.

На жизни еврейства они сказались с невероятной силой. И отправляясь сейчас назад, на три четверти века в прошлое, в местечко Узляны, куда приехал мой дед и где через год родилась моя мать, я как бы отправляюсь к истокам бурных и бесчисленных перемен, в конце которых видятся мне вот такие картины: наступает полное исчезновение Узлян как еврейского поселения... — а уроженцы местечка и их потомки живут и здравствуют здесь, в Израиле. Тот, кто захочет, может увидеть в этом финале "много мудрости со многой печалью" (Экклесиаст, 1:18)...

... Весенним днем 1905 года Шмуэль Давид Рабинович сошел с поезда, остановившегося на станции Руденск. Отсюда предстояло добираться до Узлян на телеге верст десять. Знал ли кто-то о приезде будущего жителя Узлян, и потому его встречали, или он нанял возчика здесь, на станции, — так или иначе подвода, на которую сел этот рыжий молодой человек с небольшими усами и в пенсне, повезла седока по дороге к Узлянам. Что такое российская дорога, да еще весной, общеизвестно: две колени с затекающей в них водой, лужи в колдобинах, темная, разбитая подковами почва — так что десять верст на телеге надо ехать часа полтора, а то и два. Дорога долго идет через лес, и в темноте, особенно в зимнюю пору, здесь грабят. Ближе к Узлянам, слева, открываются болотистые луга, куда выгоняют коров. Здесь же и косили сено. Справа были помещицы владенья — с усадьбой и лесом вокруг нее. Отсюда начинаются окрестности Узлян.

Дорога пересекает маленькую речушку Ушанку и сразу идет вверх и вправо, обходя хорошо заметную горку, под которой течет Ушанка дальше, к месту своего впадения в реку Птичь (текущий к югу приток Припяти). Тут же, под горкой, начинаются и дома. Один из первых — дом священника с большим яблоневым садом вокруг. Позади сада — деревянная церковь, одноглавая, с шатром. К церкви примыкает просторная площадь. Справа от дороги — почта. Собственно,

План местечка Узляны
и окружающей местности
(по описанию М. Канторовича)



это уже не дорога: она перешла незаметно в улицу, по двум сторонам которой и стоит большинство узлянских домов. Это Игуменская улица (направление на уездный город Игумен), которую дальше, за рынком и постоянным двором, пересекает другая — Минская улица, идущая, как понятно, в направлении Минска. У последних домов эта улица переходит в дорогу, которая ведет в близлежащие уже нееврейские Узляны — деревню, много большую, чем местечко.

Но подвода, на которой едет Шмуэль Давид, туда, понятное дело, сворачивать не собирается. Проехав за перекресток еще несколько домов, она вот-вот остановится: где-то тут, по левую сторону, дом старого Рувена Мойше Соловейчика, а немного подалее, справа, дом Авраама Аарона Фельдмана, женатого на Эльке — дочери Рувена Мойше. Одна из дочерей Фельдманов — Эстер и должна стать женой Шмуэля Давида...

Воспользовавшись известным литературным приемом, мы можем тут сказать, что пока подвода еще не подъехала к дому Фельдманов, у нас есть время быстро обозреть ближайшие окрестности и само местечко Узляны, которое в памяти многих его обитателей видится как одна только улица с несколькими узкими проулками между домами. Действительно, улицей в полном смысле слова можно назвать только идущую вдоль местечка Игуменскую. На ней были даже деревянные тротуары, что, однако, не избавляло от большой, вечно не просыхающей лужи, помешавшейся как раз неподалеку от домов моих предков... Параллельно Игуменской шел звавшийся тем же названием переулок, в котором стояла синагога. Рядом с синагогой была устроена миква. По-видимому, была поблизости и баня. В стороне возвышалось большое, постепенно разрушавшееся здание старинной, более чем столетней давности, синагоги, в которой до поры до времени сохранялся великолепный *арон-кодеш*, увезенный затем в Минск, в музей, где и был уничтожен пожаром во время Второй мировой войны. Мой дядя Ирмияху, который мальчиком уехал из Узлян, еще видел его, а

позже нашел изображение и описание *арон-кодеш* из Узлян в книге, посвященной еврейским древностям на территории Польши.

Где-то здесь же находилась и хасидская синагога, поменьше и победнее, чем синагога *митнагдим*. За старой синагогой было еврейское кладбище. Вообще, эта часть местечка более тихая, зады дворов тут переходят в огороды, за которыми — березняк, болота и дальше, в двух-трех верстах, уже река Птичь.

В местечке, кроме упомянутых почты, синагог и церкви, есть также аптека и фельдшер; две кузницы; акцизная контора; рынок; столярная, кожевенная, портновская мастерские; лавки и магазины. Появление таких общественных предприятий, как пожарная, банк, скотобойня и библиотека, связано с преобразовательской деятельностью моего деда, о чем в своем месте будет рассказано.

Две сохранившихся групповых фотографии, на которых запечатлено около ста человек — мужчин, женщин и детей — дают довольно ясное представление об облике узлянских обитателей, среди которых и жили четыре поколения моих предков — от прапрадеда Рувена Мойше Соловейчика до моей матери, проведенной в Узлянах детские годы. Как их род оказался в Узлянах, никто, по-видимому, не помнит. Вообще говоря, эта линия в моей родословной наиболее "земная", наиболее простонародная, и потому тут и невозможно ожидать каких-то письменных свидетельств или других подобных материалов.

К началу описываемого здесь периода (1905 г.) патриарх рода Рувен Мойше был уже в глубокой старости, слепым и глухим. Последние свои годы он доживал в семье своей внучки — то есть с моей бабушкой Эстер и дедом Шмуэлем Давидом. Моя мать еще помнит этого высокого и худого слепца. Когда Рувен Мойше умирал, к нему привели его правнуков, чтобы он благословил их. Это было сделано во исполнение традиции, по которой верили, что если благословение дает перед смертью человек большой мудрости и высоких

духовных качеств, то его святость и благо перейдут к благословляемым. Картину благословения правнуков в темной избе еврейского местечка начала века трудно представить в виде романтической картины наподобие полотен Давида или как сцену из шекспировской драмы. И все же было в этом свое величие, которое невозможно не почувствовать даже сегодня: как запомнили потомки, *патриарх благословил детей на бедность!*..

Бедность, как уже упоминалось, связывается у еврейства (и не только у еврейства) со святостью. Но по моему, не только этим объясняется благословение Рувена Мойше. Мне кажется, что оно прямо указывает на происходившее в семье старика и в некотором смысле является его приговором. Дело в том, что дочь его Эльке, моя прабабка, вышла замуж за богача Авраама Аарона Фельдмана (он в семье известен под именем Арке или "дед Арке"), да и некоторые другие из потомков старика были людьми весьма зажиточными. Меж тем, Шмуэль Давид, рассорившись со своим тестем Арке, перешел с женой в дом беспомощного старца, и в их семье, где царил вечная бедность, Рувен Мойше спокойно доживал остаток дней своих, получая необходимый уход и чувствуя уважение окружающих его. И покидая этот мир, старик как будто сказал своим многочисленным потомкам, кто среди них достоин благодати: он указал на бедных; и он хотел, чтобы правнуки его выросли похожими на тех, кто жил рядом с ним в "честной бедности"...

Сегодня трудно вообразить себе, что в таком глухом углу, как Узяны, могло процветать, кроме вполне понятной бедности, и богатство. Тут были склады, которые, вероятно, служили перевалочными базами для товаров, доставляемых от железной дороги в глубь губернии; были тут и магазины с довольно крупным оборотом; имелась корчма, дававшая своим хозяевам немалый доход. Возможно, к "среднему классу" принадлежали те, кто владели ремеслами и держали мастерские — столяры, сапожники, портные и т. п. У мес-

течка была постоянная связь с Америкой: во многих из домов главы семейств жили за океаном, и их жены и дети — "американцы", как их звали в местечке, — существовали на присылаемые мужчинами средства. Этот приток финансов извне стимулировал торговлю в местечке и способствовал росту прибыли владельцев лавок и магазинов.

Почти у каждой семьи была корова. У многих возле дома был огород. У деда Арке, у семьи Берман, то есть у богатых, были большие участки, для обработки которых нанимались крестьяне. Было поле, судя по всему, арендованное у помещика, где жители местечка сажали картошку. Моя мать так описывает работу и "трудовые отношения", связанные с этим полем:

— На поле было много полосок, разделенных межами. Участок и посадочные материалы были наши, а обрабатывал землю крестьянин — русский или белорус, в течение нескольких лет нанимался один и тот же человек. У него была лошадь, и он делал все: пахал, боронил, окучивал. Но убирать выходила на поле вся семья, включая детей, правда, отца на поле не помню. Начинали подкапывать картошку еще летом, когда только появлялась молодая. Крестьянину по договоренности отдавали половину урожая. Две-три полоски мама отдавала бедным семьям. Одной из них была семья кантора, после смерти которого его вдова осталась с кучей детей...

Как видим, с окрестным нееврейским населением поддерживались тесные экономические контакты. В домах были и служанки из русских (точнее, вероятно, это были все же белорусы). В самом местечке жило несколько русских семей, в том числе почтовый чиновник, прекрасно говоривший на идиш, и сапожник Никифор, который позже, в Мировую войну, потерял ногу и стал ходить на деревяшке. Никифор этот был, по-видимому, отпетым типом, готовым извести всех евреев. Жена его при этом была в дружбе с соседками-еврейками. Она рассказывала своим сосед-

кам, как к Никифору приезжали его дружки, и по пьянке они грозились зарезать этого и этого... Сам он ходил по местечку и говорил: "Мой сын возьмет себе вот этот дом, а я возьму себе вон тот!" И все это были не просто слова. Однажды в лесу банда грабителей напала на дочь Арке Фельдмана — тетку моей мамы Мере Малку. В темноте, среди обступивших ее людей, она вдруг узнала соседа-сапожника и, не растерявшись, воскликнула с деланной радостью: "Никифор, это ты! — вот хорошо-то, что ты здесь, значит, мне ничего не делают! А я-то испугалась!.." Бандиты оторопели, отступили от нее, и все кончилось благополучно... Таков был этот "добрый молодец" Никифор, который, однако же, брал за обувь много меньше, чем сапожники-евреи! Житейские парадоксы...

И здесь же стоит добавить еще о грабителях: из семьи Рувена Мойше ими был убит муж его дочери Михле Розин (его потомки живут в Иерусалиме).

Об отношениях с окрестным населением много рассказывает Шмуэль Давид, здесь же можно сказать, что определенным источником "напряженности" служило, надо думать, расположение церкви в отдалении от русского села и от христианского кладбища, — как раз на другом конце населенной евреями Игуменской улицы. Около большой красивой церкви жили и поп и дьяк, вокруг нее был огромный двор, куда по воскресеньям, церковным праздникам и по случаю похорон сходились много народу. На кладбище с хоругвями и иконами шли мимо еврейских домов, что, при российской склонности к водке, не приносило спокойствия обитателям местечка. Особенно боялись эксцессов на Рождество и на Пасху. Наиболее невинным из грозивших евреям зол было развлечение мальчишек: на Пасху они разбивали крутые крашеные яички, ударяя ими по зубам попадавших на улице еврейских мальчишек и девчонок.

Вернемся еще раз к тому, чем зарабатывали на жизнь обитатели Узлян. Тут был, разумеется, содержащийся за счет общины синагогальный служка, был

раввин, и был, конечно, распространен род занятий, связанный с древней традицией обучения Торе. Многие жители местечка добывали хлеб свой насущный благодаря знанию "черных точек", то есть несколько более высокому уровню грамотности, чем у остальных. Поскольку обучали всех детей, а детей рождалось много — шесть, и двенадцать, и четырнадцать в одной семье — как у Арке Фельдмана, — то всегда была нужда в учителях-меламедах. Они открывали хедеры и учили детишек. Местечковые хедеры тех времен, когда в них учились уже моя будущая мать или ее двоюродная сестра Ривка Нешер, мало чем отличались от хедера, в котором лет за 25 до того учился Шмуэль Давид. И в этом хедере учеников побивали, — если не палкой, то специальной нагайкой, причем били по рукам, по пальцам, и учитель почему-то при том приговаривал: "а-береле! вот тебе а-береле!" — то есть "вот тебе медвежонка!" — и руки оставались в синяках и кровоподтеках... Здесь также учились до ночи и зимою шли домой с фонарем. Мальчиков и девочек не разделяли. Обед не было, давали что-то вроде бутербродов. Но дети подрастали, надо было думать о будущем, о заработках. Многие уезжали в близкий большой город Минск, кто учиться — из тех, что позажиточней, — кто на заработки. Ехали и дальше — в Америку. А, например, Моте Канторович, оставшийся в Узлянах до отъезда в Палестину, в 14 лет пошел в ученики к каменщику и с этой юной поры всю жизнь работал.

Пожалуй, здесь можно пока и прервать описание Узлян и быта его обитателей: будем считать, что подвода, на которой приехал сюда Шмуэль Давид Рабинович, остановилась, и он начал новую жизнь — жизнь попавшего в глухое местечко интеллигента — с идеями, стремлениями и помыслами, и с редкостным отсутствием того, что зовется "практичностью" и "здравым смыслом"...

Записки деда Шмуэля Давида Рабиновича (продолжение)

Обитателями Узлян были торговцы, ремесленники, коробейники, в основном люди, обменивавшие плоды своего труда на то, что делали другие, их же соседи. Были люди, не имевшие постоянных заработков. Конечно, здесь, как и в городской общине, был раввин, резник, синагогальный служака. Тут было много ортодоксов, которые полностью противопоставляли себя молодежи и никак не интересовались ее жизнью. Бет мидраш был единственным местом, где собирались люди. Была прежде в местечке сионистская организация, но с отъездом руководителя она распалась. Я оказался единственным, кто выписывал газету "Ха-зман". Старики-ортодоксы руководили всем, и эти два-три человека определяли всю общественную жизнь местечка. Несогласных с ними преследовали, случалось, и били, и непокорных готовы были лишить и самой жизни.

Вот в такую обстановку я и попал, будучи уже убежденным сионистом. Обо всем этом поведал мне раввин, который позвал меня к себе для наставления сразу после моего приезда. Раввин был в местечке полным владыкой. Он сказал мне: "Сионисты нам не нужны. Не дадим тут места ни одному. Тут многие появлялись, когда оставались в местечке после женитьбы. Но всех этих новоявленных с белыми воротничками — мы прогоняли!.."

Эти властелины местечка вели все дела, ничуть не считаясь с более молодыми.

Было это тяжелое, очень тревожное время после погромов в Кишиневе и Гомеле, так что повсюду царила смертельная боязнь. Многие надеялись, что после революции наступит облегчение в положении евреев, но сионисты считали, что это пустые мечты. Споря с бундовцами, мы доказывали, что тогда, когда людей бьют,

слова не помогают. Власти явно хотели утихомирить революционные волнения посредством еврейской крови, и потому-то погромы и были допущены. Но левые партии считали, что погромы — это "эхо революции", ее родовые муки; другие, напротив, считали, что это проявление контрреволюции. А еврей под эти разговоры продолжал страдать и становился жертвой за всех... Мы с этим не мирились, нам не хотелось быть ягнатами, отданными на заклание, не хотелось склонять головы. Время, когда пели помещику *майофис*, прошло. Времена изменились, твердили мы. На удар кулаком пора отвечать таким же ударом.

Однажды в субботу после окончания чтения Торы в синагоге я выступил перед собравшимися с речью о необходимости создать в местечке самооборону. Молодежь была воодушевлена. Но многие, и в их числе члены моей семьи, возмутились: он пропагандист, кричали они, бундовец, сионист, социалист!.. Во время моей речи тесть подбежал ко мне, чтобы стащить меня с возвышения и побить, но молодежь, понятно, не дала ему этого сделать, и я закончил свою речь. Назначили собрание и на нем организовали группу самообороны. Старики протестовали. Но в группу вошла молодежь, которая разделилась на несколько отрядов со старшими во главе, установили мы и очередность дежурств.

Оружия, кроме нескольких пистолетов, у нас не было. (Много позже пистолет отца маленькие Ирмияху и Шаул нашли однажды за печкой. — Ф. Р.) Поэтому изготавливали самодельные "нагайки" из пружин со свинцовыми набалдашниками. Для этого брали картофелину, вырезали в ней сферу, и держа в этой сфере конец пружины, заливали туда свинец, как в форму. (Эти нагайки, когда начались беспорядки и стали бояться обысков, люди побросали ко мне во двор...)

Как и во всех местечках вокруг, в Узлянах была сделана попытка погрома, но она не удалась. В одно из воскресений я шел по улице, когда мне вдруг закричали, чтобы я бежал скорей к тестю: там собирались парни, готовясь начать грабить лавку, — самую большую в

местечке. Я побежал к дому и увидал перед ним большую толпу *гоим*, стоявших в ожидании, тогда как несколько человек находились уже внутри. Войдя в дом, я спросил, что им здесь нужно. В ответ мне раздался смех, один из них взял с полки штуку ткани, сунул под мышку и пошел к дверям. Я вырвал у него ткань и, крикнув, чтобы несли мне револьвер, повыталкивал их всех и тут же запер дверь. Тогда они решили направиться дальше, но тут подоспела наша группа самообороны. Мы не стали ждать, пока погромщики дойдут до очередной своей цели, и выступили им навстречу. Они отступили к краю местечка, и здесь завязалась схватка. Они вооружились кольями, у наших были нагайки. У меня в руках оказался прихваченный из лавки железный аршин, которым я бил налево и направо — не плашмя, а как саблей, пока он не согнулся. Дома уже были уверены, что я убит, жена упала в обморок, а придя в себя, хотела бежать на улицу, но ее не пустили домашние. Тесть, когда я кричал, чтобы мне принесли револьвер, побежал за ним, а потом, неся его мне, от страха выстрелил и пробил у одного из евреев полу сюртука. Погромщики разбежались, оставив на поле боя троих раненых. Одному из наших порезали ножом одежду. Таким образом, одежда пострадала у двоих, чем и исчислялись наши потери...

Это событие навело страх на всю округу. Пришедшие к нам погромщики были жителями дальних деревень, наши же соседи заняли выжидательную позицию, решив посмотреть, чем кончится первый погром. В толпе пришельцев были женщины из соседних селений, готовившиеся поживиться в случае удачного грабежа. Но то, что произошло, заставило надолго запомнить наше местечко. И позже, в пору мобилизаций, когда мимо шли рекруты, они всегда обходили стороной наши Узляны.

(Далее Шмуэль Давид переходит к семейным делам. Как пояснил Ирмияху, по принятой традиции молодые первое время, пока они не вставали на ноги, корми-

лись в семье жены. И в случае, когда муж был из другого места, также в семье жены и жили. Именно так и было у Шмуэля Давида и Эстер. — Ф. Р.)

Поначалу наша жизнь была довольно трудной. Отношения с семьей жены были не очень хорошими, а после моей речи в синагоге они стали еще более ухудшаться. Я работал в лавке тестя, мне же должны были давать пропитание. Чужой человек, окончив свою работу, идет на все четыре стороны, а я принужден был оставаться в постоянной зависимости от тех, кто давал мне работу и кормил меня, и кусок не лез мне в горло. Все та же речь в синагоге надоумила родственников жены проучить меня, то есть просто избить. Меня предупредили об этом, и когда меня позвали в дом, чтобы там со мной рассчитаться, я сказал, что приду, но в обиду себя не дам. Я позвал своих друзей из самообороны, и они оставались на всякий случай около дома, когда я отправился к родственникам. В доме на меня напали, крича "безбожник! отступник!" — и принялись было бить, я же стал обороняться, открыв окно, крикнул друзей, но потом выбежал из дома. Оставшаяся там жена стала говорить своим: "За что вы на него набросились? Что вы от него хотите?" Но увидев, что ее не слушают, взяла двухмесячную дочь Юдит и ушла. Разгневанные родственники ворвались в нашу комнату и все вещи из нее — постель, одежду, книги — выкинули на улицу. Брат и сестры жены попытались все уладить, на несколько дней мы вернулись в дом, но мира уже не было. Неприятно было сидеть за столом. Когда я заболел и жена хотела проявить обо мне побольше заботы, ей этого не позволили. Ни во что не ставилась моя работа в лавке. И мы решили уйти совсем. Сняли мы маленький домик и стали жить отдельно. (В дальнейшем они жили в доме Рувена Мойше Соловейчика. — Ф. Р.). Но покоя нам так и не было. Являлась теща и подбивала жену развестись со мной по той причине, что я не забочусь о семье, а занимаюсь общественными делами. Выносить это было невозможно.

Да и жене приходилось многое объяснять. То и дело она оказывалась между мною и своей семьей. Необходимо было зарабатывать на жизнь, я стал искать работу и пошел в учителя.

Место меламеда не пользовалось уважением: считалось, что в учителя шли неудачники, и любой сапожник, если у него не было заработка, мог набрать нескольких детей и стать меламедом. Я задался идеей устроить школу, в которой детей обучали бы по-настоящему, где бы они учились с охотой, ходили бы на прогулки и т. д. Так как собрались разновозрастные ученики, то были устроены отдельные классы. С самого начала дело пошло успешно. В школе было введено много новшеств, учителя говорили только на иврите. Дети привязались ко мне, были довольны и родители, но школа вызвала враждебность со стороны ортодоксов и со стороны меламедов, которые почувствовали, что я отбиваю у них хлеб. Спустя год, хотя школа имела успех, мне пришлось оставить ее: меламед не имел права вмешиваться в общественные дела, не мог возражать родителям. А я хотел независимости. И ради нее я это место оставил.

Занимаясь с детьми, я увидел, как недостает и им и молодежи духовной жизни. Прежде была здесь библиотека, однако я ее уже не застал. Мне рассказали ее историю. Однажды библиотекарь купил книгу Переца "Штраймл". Местные ортодоксы усмотрели в ней насмешку над раввинами и потребовали, чтобы ее убрали из библиотеки. Но библиотекарь не согласился. Разразился большой скандал, и даже с дракой, после чего состоялся суд, и в конце концов библиотеку закрыли. На этом верующие, однако, не успокоились, пришли ночью к зданию библиотеки, разобрали заднюю стену и унесли все книги. Много книг осталось и на руках читателей.

Я начал собирать по местечку книги то тут, то там. Нанял квартиру, принес туда и свои книги тоже. Кро-

ме того, я купил большую библиотеку у вдовы священника, купил и новых книг. На этой квартире я устроил временную библиотеку, на которую попытался получить разрешение от властей. Но так как народ в образовании не нуждался, разрешения мне не дали... Вместо этого я получил разрешение на открытие книжного магазина. И под этой маркой я устроил обмен книг. Из боязни властей никто не хотел давать под библиотеку помещение, и она по сей день (то есть по прошествии пятнадцати лет. — Ф. Р.) существует там же, где я ее организовал.

Книги в библиотеке были на иврите, на идиш и на русском, и ею пользовались не только евреи, но и русские тоже. И это изменило атмосферу отношений в нашей округе. Позже, когда пришли большевики, они тоже не дали на библиотеку разрешения, так как в ней были ивритские и сионистские книги. Тогда я представил ее как собственность кооператива. Но несмотря на это, однажды явился представитель наркомпроса с приказом изъять сионистскую литературу. Я этот приказ взял и спрятал у себя. В мое отсутствие милиция пришла проверять, выполнено ли распоряжение властей, но им библиотеку не открыли, сказав, что книги — моя собственность. Я же был тогда председателем волостного исполкома. В те времена местная власть была сильнее центральной, и я не очень-то считался с приказами сверху, хотя это и грозило опасностями...

(После этого отступления в будущее Шмуэль Давид возвращается к 1905-му и дальнейшим годам. Последующие страницы его записок разворачивают впечатляющую картину трудов идеалиста-одиночки, который упорно, с какой-то наивной, но, как оказалось, действенной верой в успех, стал направлять жизнь местечка на дорогу преобразований. — Ф. Р.)

Молодежь подрастала, становилась все более образованной. Я начал вести беседы о том, чтобы создать в местечке единую общественную организацию. У меня

появилось много сторонников, но каждый говорил о своих целях: о культуре, об образовании, о сионизме и о многом другом, и угодить всем было трудно. Но все же общественную группу создали и главой ее избрали человека, который был вне партий. В группу вошли и сионисты, и бундовцы, и социал-революционеры, и социал-демократы, но все согласилось сообща работать ради общественных целей, ради культуры и духовного развития общества. И некоторое время все шло хорошо. Потом начались раздоры: одни тянули в одну сторону, другие — в другую. Всякий раз я настаивал на том, чтобы не принимали решений, которые устраивали бы только одно направление. Но я постоянно боялся, что в мое отсутствие решат что-либо ведущее к расколу. И вот однажды устроили собрание, на котором стали обсуждать предложение присоединиться всей группой к какой-либо партии. Я ушел с этого собрания и дома стал писать письмо о своем выходе из группы. Это была суббота, но я не мог не писать, и когда потом люди прочитали мои идущие из самой глубины моего сердца слова, все были под сильным впечатлением, и предложение, которое так меня взволновало, отвергли.

Хотя со временем группа перестала существовать, брошенные ею зерна дали свои всходы. Многие ее члены, например, продолжали говорить на иврите. Таков был Ицхак Зеев Бенцион Гебелев. Он умер молодым в канун праздника Пурим. Я присутствовал при его кончине и слышал, что и последние свои предсмертные слова он произнес на иврите.

Некоторая свобода, которую власти дали после 1905 года, длилась недолго, и скоро все вернулось к прежним порядкам. Жители как будто предвидели эту ситуацию, боялись и не слишком "рыпались" с самого начала событий. Это сказалоь и во время выборов в Думу. Тогда каждая партия стремилась отправить на выборы возможно большее число своих представителей, и разумеется, евреи, которых притесняли

больше других, тоже должны были бы послать своих делегатов, которые могли бы выступить в защиту их прав. Но поскольку выборы были связаны с избирательным цензом и требовали определенных расходов, руководители общины не проявили в этом деле большого интереса. Я агитировал за то, чтобы на выборы поехало как можно больше народу. И когда поехали, то оказалось, что добираться до места — это слишком далеко и трудно, да к тому же пошел дождь, и все один за другим стали заворачивать обратно. Только я и еще один из наших, Яков, продолжали путь и видели, что чужие телеги едут и едут к месту выборов...

На создание какой-то общественной группы или организации требовалось разрешение властей. Думая о создании в местечке единой и сильной организации, я понимал, что получить такое разрешение окажется почти невозможным. Я решил создать пожарную команду (то есть Ш. Д. использовал эту идею как ширму для деятельности организованной им молодежи. — Ф. Р.). В такой команде существовала практическая необходимость, так как дома были деревянные, стояли тесно, и в случае пожара все местечко оказывалось в опасности. Во время беспорядков любой злоумышленник мог разом уничтожить все местечко. Власти же рассматривали пожарную команду как часть своего аппарата, который в случае необходимости можно было использовать как подчиненную им силу.

Со всей энергией я взялся за дело, чтобы устроить все наилучшим образом. Прежде всего нужно было разработать и представить на утверждение властям устав. Затем провели выборы, и меня назначили начальником команды. Я подобрал себе помощников, и мы закупили оборудование — телегу, помпы, бочки, каски и т. п. "Аристократы" над нами смеялись — ведь чтобы наполнить бочку водой, требовалась физическая работа! — недовольна была и семья, так как я имел при этом дело с простым человеком. Но наша

деятельность развивалась, и команда обслуживала не только местечко, но и всю округу.

Я построил большое здание с каланчей при нем. В этом здании хранилось оборудование, и там же мы устраивали спектакли и вечера, доход с которых шел в пользу организации. Когда я начал строить пожарную, возник конфликт со священником, поскольку поблизости была церковь (судя по всему, это было самое высокое место Узлян.— Ф. Р.), и прихожанам надо было ходить мимо нашего здания. На постройку тоже нужно было получить разрешение. Я не сомневался, что власти возьмут сторону священника, поэтому начал стройку, еще не получив бумаг. Я рассудил так, что в случае отказа готовую постройку разрушать не будут, и на худой конец все окончится штрафом. Была куплена и лошадь для нужд пожарного экипажа. Но чтобы она не стояла и не ела зря корма, я заручился у властей правом возить в местечко со станции почту. Для этого был нанят возчик. Все это я делал под свою ответственность, так как община подобными затеями заниматься не желала.

Наша команда была хорошо организована и не распадалась. Занятый многими делами, я не раз хотел передать руководство ею, но меня не отпускали. Во время Мировой войны власти, которые стали нас рассматривать как отряд, способный в случае необходимости противостоять врагу, даже дали нам ряд определенных прав.

(В семье "пожарная" деятельность Шмуэля Давида нередко изображалась в анекдотических тонах, описывалось, как ходил он по местечку в блестящей каске и т.п. Подобные рассказы исходили от представителей семейства Фельдманов. Вот одна из историй. Однажды в доме у Арке Фельдмана загорелась внутри печной трубы сажа. Прибывший с командой Ш. Д. отдал приказ: "Ломать!" В ответ на это последовала немедленная пощечина от жены: "Ломать у папы?! Не смей!" Как видно, моя бабушка Эстер была женщиной с характером. — Ф. Р.)

Деревянные, крытые соломой дома всегда оставались под угрозой пожара. И если у человека сгорал дом, он уже потом не мог встать на ноги. Но люди в местечке не задумывались о таких несчастьях, потому что были скупы. Я предложил ввести страхование имущества на случай пожара, был уже для такого страхового общества написан устав, устроили собрание, но люди на нем только задавали вопросы: а если сгорит все местечко? а если все общество взаимного страхования обанкротится? И из этого ничего не вышло. Однако удалось организовать общество по страхованию жизни, которое затем превратилось в организацию общественного вспомоществования. По утвержденным правилам общество могло выделять средства малоимущим, и со временем эта сторона его деятельности стала основной.

В местечке не было врача. Но о больных нужно было заботиться. Посредством общества страхования жизни были организованы дежурства у больных, потом эту заботу взяла на себя отдельная организация, занимавшаяся помощью тем, кто нуждался в социальной поддержке. Это была также моя инициатива, но повседневную работу вели пожилые люди.

Распоряжением властей было велено построить в местечке скотобойню на свои частные средства. Однако я считал, что бойня не должна быть в частных руках. Например, любой новый мясник оказывался вне этого дела, владельцы бойни могли диктовать свои цены на мясо и т. д. Возникли споры и обсуждения. Я решил построить бойню за свой счет, взяв для этого ссуду. Бойню выстроили на площади местечка, и я объявил, что по выплате ссуды (с прибылей от работы бойни. — Ф. Р.) передам бойню в ведение общины. Однако за продажу мяса надо было платить налоги и государству, и общине, я выплачивал и ссуду, и положение мало улучшалось. Так как я тогда вел дела в организованном мною банке и занимался "нотариальными работами" — писал прошения и письма, — то не имел возможности следить за работой бойни. Этим должны были ведать

раввин и резник, которым я доверил все, но они лишь получали деньги, а работой не интересовались. И в результате я оказался в долгах и убытках, тогда как мне долги не вернули...

Многие нуждались в сберегательной кассе, в которой можно было бы накопить деньги. Прежде всего ремесленники, у которых не хватало средств на закупку материала. Тот, кто продавал ремесленнику, брал за кредит проценты, а это значило, что и готовый товар трудно было продать на рынке. То же относилось и к мелким торговцам. Словом, всякий, кто делал крупную покупку, платил проценты. Покупателю, казалось бы, делали одолжение, давая товар в долг, но при этом брали пятьдесят процентов. Ремонт дома, покупка коровы — все стоило больших процентов (так как наличными никто не мог расплатиться. — Ф. Р.). Местечко было небольшое, и многие зарабатывали мелкой торговлей и вразнос. И если кто-то зарабатывал пару грошей, он их не берег, а тратил на мелочи.

И вот пришла мне в голову идея учредить кассу с облигациями. Я считал, что правительственные кассы платили вкладчикам несправедливо малые проценты. Это я начал объяснять жителям, созвал собрание, где рассказал о цели кассы. Но, как обычно бывает в маленьких местечках, все боялись начинать что-то новое, ждали, чтоб начал кто-то, только не ты сам... Все же я нашел нескольких человек, поддержавших меня, и стал обходить дома, предлагая покупать облигации кассы. Это оказалось самым трудным. Первое общее собрание акционеров было невероятно бурным, все мешали друг другу, и в конце концов я потребовал удалить спорщиков, сказав, что они могут забрать свои облигации. Нас осталось тридцать человек. Я объявил, что в течение года готов безвозмездно работать бухгалтером, а в конце его пусть мне дадут какую-то возможную сумму, как бы в подарок. Нашли бесплатное помещение, и в 1909 году открыли банк.

Банк наш пользовался большой популярностью. Многие из ремесленников получили займы, получали займы и хозяева домов на строительство, на покупку коров, также и мелкие торговцы, взяв заем, могли продержаться в трудный момент. Многие, в том числе и дети, копили грош к грошу и собирали с течением времени немалые суммы. Касса имела солидную финансовую основу, и даже во время войны (1914 года — Ф. Р.) я мог успешно вести в банке самые различные дела. На мое бухгалтерское место каждый год появлялись новые кандидаты. Это меня задевало, потому что я работал за небольшое жалованье, а так как у банка было много расходов, я изо всех сил старался экономить на всем. И я говорил всем, чтобы вспомнили, как начиналось дело и во что оно теперь разрослось. Мне отвечали: "Не слушай никого, это дураки!" И я продолжал работать.

Узляны располагались в 12 верстах от станции железной дороги. И для развития торговли это было далекоавато. Но сама дорога проходила лишь в 6 верстах от местечка, и я стал прилагать усилия к устройству станции или полустанка возможно ближе к Узлянам, чтобы там могли сходить и садиться в поезд пассажиры и чтобы можно было стружать и погружать товары для торговцев. На устройство полустанка пришло разрешение, и теперь дело было за деньгами, которые нужно было собрать в местечке. Я ходил от дома к дому, передвигаясь с большим трудом, так как только что перенес болезнь. Но слушать меня не хотели. Давали деньги лишь землевладельцы, так как они понимали, что с устройством станции близлежащие угодья и леса поднимутся в цене. В местечке же платить никто не хотел. Лавочники говорили, что станция принесет им одни лишь убытки, так как крупному покупателю — помещику ничего не составит сесть в поезд и купить все нужное в городе, а не у местного лавочника. То же говорили и коробейники, ходившие по деревням, и мелкие торговцы: сейчас мы продаем, покупаем, меняем, а тут все

покупатели станут ездить в город, и дело обернется сплошным убытком. А простой люд отвечал, что в город им ехать незачем, так зачем же давать деньги? Мне пришлось затратить много усилий, долго доказывать и объяснять, пока не удалось собрать нужную сумму. Поездка в город стала дешевле, так как извозчики брали меньше.

И вот до поезда стало вдвое ближе. Письма, которые привозились два раза в неделю, стали доставляться ежедневно: почтовый возчик ехал к поезду, вез в местечко и письма и газеты, и мы с утра знали свежие новости. В местечко пришел новый дух. И когда во время войны скорый поезд проходил мимо полустанка без остановки, люди уже возмущались: они хотели, чтобы все поезда останавливались у нас, и считали это совершенно необходимым!..

Было дело, которое мне не удалось: я пытался изменить правила в отношениях между помещиком и местечком. Касались они условий, установленных еще во времена, когда местечко только строилось, и речь в этих условиях шла о налогах, о пастбищах и т. п. С той поры прошло сто лет, положение давно изменилось, и помещик теперь поступал, как хотел, так как знал, что у местечка нет никаких документов, контрактов и договоров. Обращались в суд, но из этого ничего не получилось, так как у помещиков была сила, с которой маленькое местечко не могло справиться. Власти были на их стороне. Шло время. Попытался и я обратиться в суд, но мой иск был отклонен из-за необоснованности претензий. И все с этим смирились. Оставалась единственная возможность: найти в архиве первоначальный контракт, на основании которого много лет назад было устроено местечко.

С большим трудом я добыл разрешение на право поисков в центральном архиве в г. Вильно, куда я и поехал. Там, прежде чем допустить меня к архиву, мне устроили настоящий экзамен. Архивариус — старик-генерал — сказал мне, что впервые видит здесь еврея.

Я провел там несколько дней. Но бесконечно быть в Вильно — без средств от общины приходилось тратить на все свои собственные деньги — я не мог, да и должен был вернуться к сроку открытия ярмарки, ради которой я незадолго до этого потратил много сил. И потому я покинул Вильно, так и не найдя того, что искал.

Ярмарка вызывала возражения, подобные тем, что высказывались в связи с полустанком. Я был уверен, что установление базарного дня, в который со всей округи съезжался бы народ продавать и покупать, принесло бы местечку большую пользу. Все возражали, особенно когда потребовалось оплатить расходы на подготовку нужных бумаг, на адвоката и проч. Я заплатил за все сам и потом просил лишь, чтобы мне вернули мои затраты. В конце концов я недополучил 50 копеек, которые шутки ради и ради памяти вписал в бухгалтерскую книгу по графе "расходы". И действительно, от кого было получить деньги, если лавочник говорит, что ему в его лавке не нужна ни ярмарка, ни базарный день, разносчик говорит, что он ходит сам по деревням и продает когда хочет, ничего не давал базар и ремесленникам... Но я все же сделал все необходимое и получил разрешение на устройство два раза в году больших ярмарок и базарного дня в каждое воскресенье. Невозможно даже представить себе, как это сказалось на развитии торговли в местечке! Люди ехали из отдаленных мест, везли скот, зерно, посуду, гончарные изделия, хозяйственный инструмент и многое, многое еще. Когда, возвращаясь из Вильно, я в первый ярмарочный день сошел с поезда на новой станции "16-я верста", то увидел, какая царила повсюду радость. Было невозможно пройти на ярмарку. Все улицы и центральная площадь наполнились людьми — тысячи людей, целое море людей!..

Знающий местечковую жизнь согласится с тем, что все в ней нуждалось в улучшениях и в большей при-

влекательности. Меня несколько раз выбирали старостой *"Хевра кадиша"*, я на эту должность не соглашался, но чувствуя важность этого дела, многое там устраивал по своей доброй воле, а не в силу обязанностей старосты.

Было принято, что умершего предавали земле только после того, как договаривались о стоимости похорон. Мы же ввели обычай, по которому на похороны собирали общественные деньги, которые затем без неприятных споров и переговоров возвращались. Стали делать и маленькие доски с именем и датой, которые клались на место захоронения в день похорон, что предотвращало возможность недоразумений. Была большая война по поводу стола для обмывания покойников. Обычно брали для этой цели дверь или лавку. Я отменил этот обычай, потому что потом той же лавкой продолжали пользоваться, не задумываясь о гигиене. Была сделана специальная доска, которой испугались старики. Они сказали так: если есть такая специальная доска для покойника, то смерть сама будет приходить, чтобы доска не пустовала. И потребовали сжечь ее.

Я сначала сопротивлялся, но мне не давали с этой доской покоя, без конца ходили то ко мне, то к жене, наконец я махнул рукой и велел службе, чтобы он ее сжег. Но он не мог найти печь, в которой бы ее можно было уничтожить: все боялись предоставлять для нее свои печи. Ведь на ней лежали покойники, говорили теперь, и теперь в ней присутствует святость, и ее нельзя теперь сжигать!.. И доска осталась, и ею продолжали пользоваться.

Каждая *"Хевра кадиша"* вела свою книгу записей, куда заносились все дела и события. Такие книги имели большое значение для изучения хроники, истории общин и т. п. Во многих местечках эти книги не ценились, и они пропадали. Была прежде такая книга в Узлянах. Время от времени в местечко приезжал казенный раввин из округа, и однажды он забрал уже законченную книгу, чтобы передать ее в архив. Я слышал,

что в той книге было много интересного, и вот я стал разыскивать раввина. С трудом удалось узнать, что он в Нижнем Новгороде, я написал ему, и он ответил мне, что поражен, как это человек из маленького местечка проявляет стремление и интерес к такого рода изысканиям. Так или иначе, но книгу я получил, причем из Петербурга. И в ней я действительно обнаружил много удивительных, странных и смешных вещей, например, таких: девушка вышла замуж, а потом на нее поступила жалоба, что она не девица; кто-то ослушался синагогального старосту, и этого человека в наказание ввели на год в "*Хевра кадиша*"; служка обозвал старосту "собакой", и улаживая это дело, все сели вокруг стола, а служку пустили под стол, где он должен был ползти и лаять, после чего провозгласить: "это все не я говорил, а собака лаяла, гав-гав-гав!" — и он был прощен при словах "ты наш брат!" — и многое еще...

Хотя я сам происхожу из раввинов, эта публика никогда мне не нравилась. Всегда я чувствовал в них какое-то лицемерие. А я высказывал правду без всяких прикрас. Перед толпой я всегда поддерживал их авторитет и при народе брал их сторону, но у меня очень часто возникали с ними споры по поводу установленных ими порядков.

Когда умер местечковый раввин, его семья немедленно, еще до похорон, прямо во время отпевания в синагоге, потребовала, чтобы община передала место его сыну. И они сказали, что не позволят похоронить покойника, пока община не даст такого обязательства. Но я сказал, что мы сейчас потрясены кончиной раввина и не можем в эту минуту и наспех решать серьезные дела. После этого похороны состоялись. Родственники же написали бумагу, где говорилось, что община назначает сына на место отца, и стали собирать под бумагой подписи. (Многие даже не умели подписываться и давали подписывать за себя другим). Но большинство хотело решать проблему иначе: община должна была позаботиться в первую очередь о доче-

ри умершего, поэтому было бы справедливо, чтобы она нашла себе жениха — рава, который мог стать у нас раввином; сын же и так сумеет обеспечить себя, найдя себе место где-нибудь еще. И я, и уважаемые люди общины были за это решение. Когда я пришел среди недели скорби навестить сидящих в доме раввина, мне сказали, что не выпустят меня за дверь, пока я не решу вопроса о раввинате, так как от меня все зависит: все местечко смотрит на меня, и все сделают так, как я. Целый день я сидел под арестом, пока мое терпение не лопнуло и я не написал новую бумагу, в которой оговаривались особые условия в пользу дочери. Я велел послать за старейшинами общины. Они подписали бумагу, дело в результате кончилось миром, и я ушел.

Но вышло так, что с новым раввином, которого я же "короновал", у меня было немало столкновений.

Однажды под праздник Пасхи возник конфликт по поводу зарезанной коровы. Раввин не мог принять решения, и мясник сказал, что поедет в другое местечко, чтобы спросить у тамошнего раввина. На это наш молодой сказал: "Если тот скажет "кошер", я скажу "треф". Я такой же ученый, как и он!" Я возмутился. Тот раввин был опытным и известным, и я спросил нашего: "Кто поставил тебя? Ты даже еще не принес свидетельства, что ты рав! Тебе еще многое нужно, чтобы ты стал хорошим раввином, а тот уже восемь лет раввин, его хотят перевести в большой город, он преподает, и у него опыт, а весь твой опыт — это править лошадьми (старый раввин был болен, и сын правил его дрожками), а этого еще недостаточно!"

Было и столкновение по поводу мацы для Пасхи. Начали привозить мацу фабричного изготовления, которая делается на машинах, но раввин хотел постановить, что она не кошерная и что надо печь вручную. Понятно, что фабричная маца была дешевле ручной. И я стал возражать раввину, говоря, что и наиболее уважаемые из раввинов используют фабричную мацу, что надо облегчать народу жизнь, а не усложнять, поскольку и без того людям трудно живется.

Позже, уже во время войны, раввины разрешили пользоваться рыночной мукой. Этот же такого разрешения не дал. Я послал за разрешением к окружному раввину, поскольку я был тогда комиссаром. Купленную муку перебрали и стали делать мацу. Явившийся позже раввин сообщил, что он пришел с разрешением из округа, но я ответил, что уже не нуждаюсь в нем, так как получил его раньше. Он начал ссору, называя меня нечестивым, обвинял меня в устройстве вечеров и так далее, и мы стали сводить счеты друг с другом. Я ушел рассерженный из его дома. Когда на Пурим я послал ему праздничное угощение, он его не принял. Я не мог работать с ним, мы раздражали друг друга, и, когда в общине были выборы, я отказывался находиться с ним в одном списке.

Молодежь хотела учиться, и я взял на себя добровольную миссию вести занятия по изучению Танаха. Все молодые люди местечка шли на мои уроки. Я начал с книги пророка Иехошуа, читал, комментировал главы, объяснял значение слов. Ученики по очереди повторяли и рассказывали пройденное. Собирались мы два раза в неделю. Вести занятия помогал мне мой друг Яков Леви. Со временем начали изучать и историю еврейского народа. Истории я начал учить и девушек, с которыми вел занятия днем по субботам в лесу. Объединить всех вместе было трудно, так как я занимался с мужчинами после молитвы в бет-мидраше. Девушки преуспевали больше, они были и более развиты, и лучше занимались. Но позже обе группы все же удалось объединить в общую группу "*Цеирей-Иехуда*", занятия которой продолжались долго, из года в год. У меня была книга, подаренная мне учениками в знак благодарности — "Энциклопедический словарь" Павленкова.

Я давно понимал, что старый тип хедера отстал от требований времени. Кнут и ремень уже не подходили для целей воспитания нового поколения детей. Я бо-

ролся против устаревших порядков, в частности, и тогда, когда сам учил, но как я уже писал, учительство мне пришлось оставить. Но когда настала пора учить моих собственных детей, я взялся за то, чтобы устроить в местечке обучение по-новому. Я пригласил двух наиболее способных меламедов нашего местечка, составил программу занятий с детьми, подыскал помещение. Все, казалось бы, шло на лад. Но раздоры между родителями стали помехой всему. Нашлись такие, кто не хотели, чтобы их сыновья учились с детьми сапожника. Не повели себя достойно и учителя: обходя дома, они тоже приглашали тех детей, чьи родители были "повыше", а в дома сапожников и портных не шли. Когда я повесил на здании синагоги объявление об открытии хедера, бумагу кто-то сорвал. Я отказался от начатого, не желая участвовать в этой общей лжи.

Но эта история познакомила меня с детьми бедняков, и я стал по вечерам заниматься с ними. Нашлось еще несколько молодых людей, согласившихся пожертвовать деньги для того, чтобы нанять этим детям постоянного учителя. Дети учили и светские предметы и хорошо в них успевали. Эти занятия длились в течение года.

Некоторое время вел я также и кружок сионистской молодежи. Учение велось на иврите. Но как-то приехал один бундовец и потребовал, чтобы мы занимались на идиш. Пошли споры, перед одним из праздников занятия прекратились, да так и не были возобновлены.

Постепенно жизнь в местечке развивалась, и многим стало понятно уже, что нужна народная школа, в которой могли бы учиться все дети. Меня поставили во главе культурного совета, под руководством которого и создали школу, названную нами "Тхия". Четыре учителя школы вели четыре группы, в которых занималось около ста детей. Занятия велись по программе народного училища, изучали Талмуд, учили иврит и другие языки. Более 60% детей учились бесплатно, 20% плати-

ли половину стоимости обучения, остальные 20% платили полностью. В школу приглашался для осмотра детей врач, во времена, когда жизнь стала трудной (к концу войны и в годы революции.— Ф. Р.), дети получали бесплатные обеды.

Школа наша действовала под эгидой общества "Тарбут". Она вызывала раздражение у тех, кто руководил религиозной школой *талмуд-тора*, и община постоянно стремилась отобрать от нас детей и уменьшить наше влияние. Но школа действовала успешно, и я руководил ею до самого своего отъезда в Эрец...

По мере того, как развивалась молодежь, разрасталась наша организация "*Цеирей-Иехуда*". Раздавались голоса с предложениями присоединиться к одной из партий. Преобладающим было стремление к международной Сионистской организации. Сам я продавал шекели, жертвовал в "Керен-Кайемер", собирал деньги для "*Ховевей-Цион*" в Одессе, продавал марки. (Ш. Д. сохранил все купоны за оплаченные им шекели, начиная с 1904 года и до предпоследнего года жизни, когда он был уже болен. Это, по-видимому, уникальнейшее собрание таких купонов, выданных одному человеку — в течение периода более чем за тридцать лет. Хранятся у Ирмияху. — Ф. Р.)

Узляны были примером для всех окружающих местечек. Я устраивал вечера, читал материалы и распространял сведения о том, что происходит в мире сионизма. Я был активистом, но местечко не входило в какую-то организацию, и все, что мы устраивали, было "частным делом". Со временем попытались мы создать сионистскую организацию, но столкнулись с общим равнодушием.

Когда-то, до моего появления в Узлянах, была здесь группа "*Доршей-Цион*", от которой мне передали все бумаги и печати, но новой организации так и не было. Нашей целью все равно был сионизм, и не имело значения, входим ли мы в сионистскую группу или нет. Кроме того, я боялся, что новая организация может

помешать существованию нашей молодежной "Цеирей-Иехуда". Лучше жить без знамени, но с единым Богом. Все же трудно было отстаивать беспартийность. И однажды в субботу, в месяц тамуз 1917 года (здесь, как и в других местах, Ш. Д. ради тематического единства говорит о хронологически более позднем событии.— Ф. Р.) было решено, что вся "Цеирей-Иехуда" принимает программу "Цеирей- Цион". Трудно представить, какое это вызвало воодушевление! Избрали комитет из пяти человек, меня выбрали его председателем.

Сразу же последовали перемены. В местечко стали приезжать лекторы, агитаторы, нас призывали завоевывать места на всех должностных постах у нас в местечке, участвовать во всех выборах, мальчиков и девочек стали вовлекать в организацию "Молодой Израиль". Я заниматься этой детской организацией не мог, но несколько раз читал там лекции. И так как у них была явная симпатия к идиш, я старался читать им на иврите. Среди них моя дочь Юдит была младше всех, но оказалась впереди других по развитию, и из-за общей склонности к идиш она и кое-кто еще хотели уйти из членов "Молодого Израиля". Но они понимали, что с их уходом все могло развалиться, я не советовал этого делать, и они остались.

(Несколько дальнейших эпизодов воспоминаний Шмуэля Давида посвящены опять его личным делам, и в частности тому, как добывал он хлеб свой насущный. Материальное благополучие его семьи всегда страдало и от его житейской непрактичности, и, главное, от того, что он постоянно был занят общественными делами, из-за которых забывал о нуждах семьи, постоянно лишь еле-еле сводившей концы с концами.— Ф. Р.)

Уйдя из дома тестя, я, чтобы обеспечить существование семьи, перепробовал много занятий. Потом мне стало понятно, что все у меня рушилось из-за тестя, который пользовался своим влиянием, чтобы всюду мешать мне...

Так, предложили мне заняться продажей древесной коры (для дубления. — Ф. Р.), которую поставлял лесопромышленник, не имевший желания сам вести торговлю корой. Был в местечке человек, знакомый с этим делом, он знал людей, покупателей и т. д. Я же был человеком новым. Я вложил в предприятие деньги от приданого жены. Но случилось так, что выпал дождливый год, и цена на кору понизилась в четыре раза. Можно было бы хранить кору до следующего года, до повышения цены, но это требовало больших расходов. И кончилось тем, что я лишь освободился от своих денег. Я нанялся работать бухгалтером у двух компаньонов-лесопромышленников (один занимался промыслом, другой брал на себя обязанность содержать бухгалтера). Наняли меня на год, по окончании этого срока пошел я на новое место, но вскоре простудился и получил ревматизм, который так сковал мое тело, что, вернувшись домой, я лежал, не имея возможности пошевелиться. В доме не было ни копейки. Мне пришлось обратиться к своему бывшему компаньону по продаже коры с просьбой прислать мне какие-то гроши, которые помогли бы спасти положение. Я лежал тринадцать недель, и за мной приходилось ухаживать, поднося ложку ко рту. Мои товарищи из молодежи приходили ко мне, помогали жене, переворачивали меня в моей постели. Я перенес длительные и ужасные страдания, но не падал духом. Когда только я смог двинуть левой рукой, я написал свою первую песню на идиш (приводится здесь в подстрочном переводе. — Ф. Р.): "Послал мне Бог множество забот, и все для меня, Его маленького дитяти, а не для тех, кто большие. Получил я посланное мне, и не с кем разделить содержимое, и я спрашиваю: за что мне это?.."

В дни моей болезни жена родила сына Ирмияху (следовательно, шел тогда 1908 год. — Ф. Р.). Это было мне утешением. *Брит-мила* устроил тесть, из-за чего у меня было много переживаний. На торжество пожалели потратиться (это богачи первейшие в местечке! — Ф. Р.), и никто из моих товарищей не был приглашен.

Нам с женой пришлось преодолеть свою обиду. Но когда прошел год, мы, хотя и было нам жить по-прежнему нелегко, устроили свое торжество, на которое пришли все наши друзья.

Когда, заболев, тесть вместе со старшей своей дочерью поехал за границу на лечение, я взялся вести в его отсутствие дела в лавке. За это мне почти не платили — давали только на пропитание. Работая в лавке, я познакомился со всеми крупными торговцами в округе, они оценили мою честность и откровенность и стали предлагать, чтобы я устроил собственную лавку, обещая мне кредит и всяческую помощь. Я дождался возвращения тестя и открыл свою лавку, не попросив у него ни кредита, ни какой-либо иной поддержки. Торговал я мануфактурой, галантереей и писчебумажными товарами. Моим правилом торговли были низкие и твердые цены, дававшие скромную прибыль, и у меня всегда продавались только хорошие товары. И я мог бы заработать, если бы выдержал хотя бы пару лет. Но я открыл лавку без собственных денег. Свой кредит я должен был возвращать вовремя. Покупатели же, которые многое брали в долг, возвращать его мне не спешили. И дело подошло к тому, что для расплаты с кредиторами нужно было закрывать торговлю. Сами мои кредиторы предлагали продлить сроки и облегчить условия выплаты, но я на это не хотел пойти. Окрестные крестьяне также предлагали мне помощь. Когда случались в деревнях пожары, я всегда спешил на выручку со своей командой, для чего бросал все дела в своей лавке. Крестьяне были мне благодарны за то, что я спасал их от огня, в котором могло сгореть все их добро, и, предлагая мне помощь, многие из них говорили: "Ты же нас спас!" Но я бросил все и лавку закрыл.

(Следующие далее рассказы вполне могли бы послужить темой нескольких печально-трогательных новелл из жизни местечка начала века. — Ф. Р.)

... Мне никогда не нравилось попрошайничество. Я считал, что следует работать и зарабатывать вместо того, чтобы ходить по домам и просить подаяние. Особенно неприятно действовало на меня попрошайничество молодых. И я не раз с такими разговаривал, убеждая их оставить бродяжничество и заняться практическим трудом. Делал я это вовсе не потому, что жалел дать им пару грошей. Они же не покидали дома, не получив своего. Противно было видеть это.

И вот случилось как-то, что полиция привела мальчишку лет двенадцати, круглого сироту, без каких-либо бумаг. В полиции он заявил, что родился в Узлянах. Хотя его никто здесь не знал, в местечке первым делом забрали его из рук полиции и только потом стали расспрашивать. Наконец вспомнили его мать, незамужнюю женщину. Мальчишка, как оказалось, обошел всю Россию, был искушен в воровстве и жульничестве, знал грубые слова. Он был оборван, с телом в язвах, голову его покрывала парша. Нам он сказал, что после всего, что с ним было, он решил оставить свою прошлую жизнь и хотел бы остаться в местечке, чтобы учиться ремеслу и начать жить по-новому, если ему в этом помогут.

Я забрал его от полиции под свою ответственность. Одед его, обул и отвел к сапожнику — симпатичному еврею, которому стал платить за мальчика, как платит отец за обучение сына. И Абраша стал жить у сапожника и работать у него. Через два месяца он умел уже делать дратву и класть латки на обувь. Парша его начала проходить. Врач и моя жена лечили его и старались ему помочь, хотя и без особой охоты. И оказалось, что он, повидавший свет, узнавший веселую жизнь, не захотел сидеть в скучном местечке: не сказав никому ни слова, он собрал свои пожитки и покинул местечко. Сапожник, которому я платил за него, вернул мне остаток денег.

Я не был этим обескуражен. Я видел, что этот родившийся вне брака мальчик был жуликоват, и бывало, побив кого-то из ребят, бежал в синагогу и стано-

вился рядом со мной, чтобы я служил ему защитой. К нормальной жизни он не мог привыкнуть и потому и ушел, оставив нас в неведении относительно своих планов.

Раз появился в местечке шарманщик, ходивший со своей шарманкой от дома к дому. С ним был мальчик. Шарманщик играл, а мальчик держал попугая. Паренек был неглуп и свое грустное положение хорошо понимал. Я спросил его, не хотел бы он выучиться ремеслу. Он был согласен на это и стал просить шарманщика отдать ему его бумаги, которые старик держал у себя, чтобы мальчишка не мог от него уйти. Я сказал шарманщику, что он портит парнишке жизнь и тоже потребовал от него бумаги мальчика. В разговоре выяснилось, что и этот мальчик сирота, что мать, не зная, что с ним делать, отдала его шарманщику. Не желая сначала отпускать его, шарманщик все же потом согласился, так как боялся, что я заявлю на него властям (все местные представители власти были моими друзьями). Он стал просить меня, чтобы я заботился о мальчике и жалел его так, как он сам обещал это его матери. И еще он сказал, что отдает мне ребенка только потому, что доверяет мне. Он передал мне бумаги, пожелал всего доброго нам и ушел.

Мальчику было одиннадцать лет. Отдал его шорнику, которому стал платить за обучение и за содержание, и все было в порядке. Но прошло немного времени, и мальчик исчез. Явился он назад через два дня и в ответ на вопросы стал рассказывать самые невероятные истории о том, как он заблудился, как пришлось ему просить подаяние в деревнях... Он проработал еще несколько дней, но потом стал лениться, а затем потребовал от меня свои бумаги. Ему хотелось оставить местечко и зарабатывать себе более легким способом, выпрашивая подаяние. Понятно, что я воспротивился: "Ты же обещал учиться?!" — На что он отвечал, что мечтал о свободе и потому обещал учиться, — лишь бы удалось заполучить от шарманщика свои бумаги. Я разгневался на него за этот обман и бумаги отдавать

не стал. Он принялся кричать, ругаться и плакать и даже пытался пустить в ход кулаки. Сбежались соседи, и женщины стали уговаривать меня отпустить его. Моя жена тоже присоединилась к ним. Я бросил ему его документы, и он покинул местечко.

Все-таки я и на этот раз не опустил руки, и если удавалось, помогал нуждающимся, особенно когда речь шла о детях. Так было, когда приехал в местечко на подводе старый бедняк-слепец, скитавшийся со своим семейством от селения к селению. Вместе с мальчиком семи-восьми лет, который был его поводырем, слепец пришел в помещение банка, где я работал. Второй мальчик оставался у подводы стеречь имущество. Я заговорил со стариком и сказал, что мальчику нужно выучиться ремеслу с тем, чтобы потом он мог содержать старика, помогать ему. Старик согласился с этим, но как это сделать? — спросил он. Если бы нашелся человек, который возьмет мальчика, он бы с радостью отдал его, потому что есть у него другой, кто может водить его... Я узнал, что мальчика звали Гирш, он был из Клецка, Минской губернии, и тоже был сиротой: мать его умерла, а отец его уехал, и мальчик остался у бабушки в Клецке (бабушку звали Элька). Та отдала его своему сыну, дяде мальчика, жившему в Лаховиче. Дядя был разносчиком воды и по бедности содержать ребенка не мог. Он и отдал его слепцу, чтобы мальчик зарабатывал хлеб сам и что-то давал и дяде. Слепец говорил, что я сделаю богоугодное дело, если возьму мальчика, и я, конечно, не упустил возможности... На этот раз я посоветовался с женой и, получив ее согласие, написал договор, в котором было сказано, что слепец отдает мне ребенка по доброй воле и не предъявляя ко мне никаких требований, и мальчик остается в моем полном распоряжении. Под договором подписались также и свидетели, и на этом покончили.

Этот мальчик, подобно Абраше, тоже был с паршой, оборван, выглядел дикаренком и совсем не вступал в контакт с людьми. Он не умел ни читать, ни писать ни на каком языке. Мы привели его домой, обмыли, оде-

ли и обули, и я послал его учиться в *талмуд-тора*. Он учился в хедере более года и преуспел в учении. Учил Пятикнижие, стал писать на идиш и по-русски. Меж тем, я рассылал всюду письма, надеясь отыскать его отца, но это не удавалось. Только дядя ответил через раввина, что о судьбе отца ничего не известно, мальчика же он просил прислать к нему, обещая отправить его в хедер. Разумеется, я этого не сделал.

Мальчик оставался у нас. Парша у него излечилась. Он вырос, и его трудно было держать в школе: дети приставали к нему, зная, что он чужой, да и нам нелегко приходилось, поэтому мы решили выучить его какому-нибудь ремеслу. Я поехал с ним в губернский город, снял для него жилье и передал в ученики портному. Там он жил, а к нам в Узляны приезжал время от времени как в родной дом. Через какой-то срок он выучился портновскому делу, портной уже платил ему, и он мог прожить на собственный заработок. Как раз тогда началась война, и юноша стал тосковать по своим родственникам. Он и хотел увидеть родные места и хотел получить документы с датой своего рождения, так как шел призыв в армию. Ехать из-за близости фронта было опасно, но он добрался на родину, мы получили от него письмо, в котором он сообщал, что там определили его годы и установили, что для армии его возраст еще не вышел. Потом он вернулся к нам в Узляны. Но фронт приближался, мы боялись, что из-за высокого роста его все же мобилизуют, и он поэтому хотел уйти от линии фронта дальше. Он снова уехал, и с 1918 года мы ничего не знали о нем.

У нас был сын Гершль (Цви — так сейчас зовут его в семье. — Ф. Р.). Его называли Гершль Маленький. А приемного звали Гершль Большой. И обоих их в местечке считали сыновьями Шмуэля Давида, потому что Гершль Большой ничем не отличался в нашем доме от моих детей.

Долго мы не знали о нем ничего. Но уже в Палестине мы получили от него письмо. Жил он в Клецке. Женился и зарабатывал на хлеб иглой — был портным. Он

тосковал по нашей семье и хотел отправиться в Эрец.

(По словам Ирмияху, Ш. Д. выслал Гершлю приглашение, но связи с ним больше не было. — Ф. Р.)

Я всегда любил мир. И во всем я стремился к миру, даже если меня о том не просили. Помню А. З. Р., который, вернувшись из армии, связался с женщиной, родившей от него дочь. А до того, как уйти в армию, имел он здесь возлюбленную. Теперь он опять сошелся с прежней любовью. Женщина, родившая его ребенка, приехала в местечко и стала требовать, чтобы он ушел к ней. Человек этот был груб, он мог ударить и убить, и вообще сделать все что угодно. Он не признавал законов, угрожал этой женщине и не признавал ее. Я пошел навестить его, хотя и подвергал себя этим опасности. Он сильно разъярился и ничего не хотел слушать. Но все-таки мне удалось повернуть его к хорошей жизни и примирить обоих. Они жили хорошо и стали моими лучшими друзьями.

В местечке были молодой человек и девушка — дочь Ш. Ш., которые после свадьбы решили, что не подходят друг другу, и у них начались ссоры и драки. Я взял их к себе в дом, чтобы они немного пожили в нашей семье, и присматривал за ними, пока их отношения не наладились. Вся жизнь пошла у них по-другому.

Вообще, если возникали ссоры, всегда шли ко мне и просили быть посредником в раздорах. Наиболее интересным было то, что мне удалось сделать в связи с отношениями отца и сына М. Молодой человек любил девушку, но родители были против его брака с ней, так как он был сыном лавочника, а она всегo-навсего дочь кузнеца — словом, дело обычное. Этот парень был учителем, оставил родительский дом и стал зарабатывать самостоятельно. Однако его задевало то, что родители отказали ему во всем, хотя им ничего не стоило помочь сыну. И он иногда являлся в дом отца и брал то одно, то другое. Как-то он взял костюм своего младшего брата, посчитав, что имеет на это право,

так как костюм был приобретен на деньги отца. Между братьями началась драка. (Здесь следует снова предупредить, что событие относится к позднему, уже после-революционному, вероятно, 1918 году. — Ф. Р.) Обиженный владелец костюма донес окружному немецкому коменданту на брата, что тот вор и большевик. Комендант послал людей арестовать его, но парень спрятался. Доносчик не успокоился, выдал место, где находился его брат, и снова были посланы солдаты, чтобы найти его и арестовать. Но старший убежал, предварительно младшего избив. Требование коменданта о его поимке было непреклонно. Парень согласился явиться в комендатуру при условии, что я пойду вместе с ним. Я был тогда "бургомистром" и выполнял также роль переводчика. Пошли в комендатуру, взяв с собой отца, чтобы он свидетельствовал о сыновьях и умиротворил коменданта. Решением коменданта был приказ: "Высечь обоих братьев".

Меж тем, отец с сыном не помирились. Когда пришло время свадьбы молодых, дом которых стоял через улицу окно в окно с родительским домом жениха, то в отцовском доме раздавались проклятия, а в доме напротив играла музыка и танцевали. В маленьком местечке всем все известно. И вот на свадьбе родственники невесты, ученики жениха и их родители, нет только родителей жениха. Я не мог на все это смотреть и пошел к ним. Встретили меня руганью еще до того, как я успел произнести и слово. Мать занималась кухней, что-то пекла, в доме было темно — и это в тот момент, когда у сына свадьба! Я так много говорил, что все расчувствовались и заплакали. И договорились мы, что если сын придет и попросит прощения, то мир будет установлен. Но сын не хотел об этом и слышать. Однако сваты и гости стали его уговаривать, и взяв вино и угощение, мы все пошли в дом родителей.

Там мать вдруг сказала, что хочет, чтобы и младший брат был на торжестве. Услышав это, жених приказал своим ученикам: "Нести немедленно все обратно!"

Я был потрясен. После таких моих трудов, чтобы все рухнуло? Я топнул ногой и закричал на учеников: "Вы ничего не понимаете! Не мешайте отцу и его сыновьям! А если учитель не слушается людей, то и вам его нечего слушать!"

И сын сдался. Мир был установлен.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ВРЕМЕНА ДЕДОВ ОТЦОВСКАЯ ЛИНИЯ

Отцовская линия моей родословной во времена, предшествующие рождению деда Вульфа Розинера, прочерчивается сегодня лишь слабым пунктиром. Известно, что родом Вульф был с Волини, что родился он "в деревне, где отец служил у арендатора небольшого имения". Как можно предположить исходя из цитируемой автобиографической записки Вульфа, деревня эта была где-то в округе города Кременца. В городе жил отец матери Вульфа, то есть дед моего деда. И следовательно, опять, углубившись в даль времен, мы попали на уровень того же поколения, от которого начиналось описание моей материнской линии, то есть на уровень поколения пятого, считая от моего. Но здесь, в отличие от той же семьи Натана Рубина, конкретных данных почти нет. Мой отец своего прадеда никогда не видел и не помнит каких-либо рассказов о нем. И потому мне остается лишь привести еще один фрагмент из автобиографии Вульфа Розинера, где упоминается его дед:

"Родители были мещанского сословия. С ними в деревне я прожил до пяти лет, когда меня перевезли в город к бабушке, чтобы отдать в школу. Привольная жизнь деревни сменилась ежедневным двенадцатичасо-

вым заточением в хедере. Здесь и прошли детские годы, потому что в семью дедушки, где ровесников не было, я приходил только ночевать. Материальное положение было удовлетворительное, так как родители из деревни снабжали семью дедушки продуктами”.

Из этого понятно, что в 1870-х — 80-х годах семья Розинер вела жизнь невысокого достатка: был бы находившийся в городе дедушка зажиточным, не пришлось бы досылать ему продукты из деревни.

Имя отца Вульфа Розинера было Иехошуа Арье, имя матери неизвестно. Происхождение фамилии Розинер можно, вероятно, связать с названием польского города Розин — аналогично образованию таких фамилий, как Слуцкер (от г. Слуцк), Узлянер (от знакомого нам местечка Узляны) или Ковнер (от г. Ковно). Любопытно, что в России наша фамилия мне не встречалась ни разу, тогда как в тель-авивской телефонной книге насчитывается десять Розинеров.

Сохранился портрет Иехошуа Арье Розинера, сделанный, когда мой прадед был в преклонном возрасте. Есть и его фотографии с детьми и внуками. Со всех изображений на нас смотрит благообразный седобородый старик со спокойным взглядом. На голове неизменная ермолка. Без сомнения, это религиозный человек, соблюдавший еврейские традиции. И можно представить, каким крушением для него было нежелание его детей жить по заветам отцов!..

У Иехошуа Арье было четыре сына. Старший, Лазарь, родился около 1865 года, мой дед Вульф — в 1872-м, разница примерно в пять-семь лет разделяла, вероятно, и более младших — Александра (р. около 1880 г.) и Хаима (р. около 1887 г.). И вот первый же из сыновей уходит из семьи и отправляется на учебу — не в иешиву, а в светскую школу и в университет. Известно, что до 1887 года Лазарь учится в Петербургском университете. Мой отец на основании семейных рассказов говорит о разрыве между Иехошуа Арье и его старшими детьми: он был против светского образования. Вульф принял сторону Лазаря и с четырнад-

цати лет начал работать: он взял на себя миссию помогать брату деньгами. В семейном архиве имеется свидетельство об окончании Вульфом двухклассного городского училища в Кременце. Свидетельство датировано 1893 годом — Вульффу было тогда уже за двадцать. Курс училища он сдавал экстерном. Это свидетельство дало ему право получить определенные льготы при призыве в армию: он был призван в том же 1893-м и служил три года.

Меж тем Лазарь в 1887 г. принял участие в студенческих волнениях. Он должен был покинуть Петербургский университет и перейти в Дерптский (ныне в г. Тарту в Эстонии). Оканчивает он его со степенью кандидата прав в начале 1890-х годов, и с этого периода начинается интереснейшая деятельность Лазаря Розинера в Петербурге, о чем здесь стоит рассказать подробно.

Конец прошлого века в России был, как известно, временем значительного расцвета культуры. Просвещение распространялось все более широко, и одной из сторон этого процесса стало интенсивное развитие в стране книгоиздательского дела. Разнообразная литература печатается большими тиражами, полиграфический уровень книг становится весьма высок. Появляются известные и по сей день книги таких издателей, как Сытин, Вольф, Саблин. В числе крупнейших книгоиздателей России стоит и А. Ф. Маркс, дело которого охватывало печатание самой разнообразной литературы. Наиболее известным его изданием был еженедельный журнал "Нива". Этот "тонкий" журнал живо откликался на важнейшие события в стране и на внешней арене, публиковал стихи и прозу русских писателей, иллюстрировался репродукциями с живописных картин, рисунками и фотографиями. Журнал "Нива" до 1917 года был одним из наиболее популярных в России изданий. Еще и сегодня тонкие, пожелтевшие тетрадки "Нивы", собранные в подшивки, вызывают большой интерес у любителей истории, да и просто у собирателей антикварных изданий.

Но не меньшим, а, пожалуй, много более значительным начинанием А. Ф. Маркса было известное всей читающей России вот уже на протяжении почти столетия издание знаменитых приложений к журналу "Нива". Впервые в русской издательской практике Маркс предложил подписчикам своего журнала приобретать на льготных, весьма удобных условиях собрания сочинений русских писателей. Издаваемые большими тиражами, в хороших переплетах или, по желанию подписчика, просто в несшитых тетрадях, произведения Достоевского, Гоголя, Тургенева, Чехова, Гончарова, Лескова и многих других, а затем и зарубежных писателей (Метерлинк, Гамсун, Ибсен, Уайльд и др.) многочисленными тиражами стали расходиться по России, проникать во все ее самые отдаленные уголки. Культурно-просветительскую роль этих "марксовских изданий" трудно переоценить. В более позднее, советское время, когда выпуск книг стал полностью зависеть от властей, когда многие писатели оказались "под запретом", а множество известнейших произведений не переиздавалось, когда страну охватил не прекратившийся до сих пор книжный голод, — "марксовские" приложения к "Ниве" зачастую оставались и остаются единственным, хотя уже и труднодоступным, источником для знакомства с классикой прошлого — начала этого века.

Одним из организаторов этого уникального издательского начинания был брат моего деда Лазарь Розинер. С 1892 года и по 1913 год, то есть больше двадцати лет, проработал он в издательстве Маркса. Примерно с начала 1900-х годов он становится управляющим конторой издательства и ведет основную деловую работу по руководству этим большим предприятием.

Свидетельством его обширной и интереснейшей деятельности является множество писем известных русских писателей, адресованных Лазарю Розинеру. Многие из этих писем остаются неопубликованными и хранятся в архивах, другие же известны. Так, в частности, можно найти имя Л. Розинера в недавнем собрании со-

чинений А. Куприна и во всех последних изданиях сочинений А. Чехова. Издательство "Наука" выпустило в 1977 году книгу И. П. Видуэшкой "А. П. Чехов и его издатель А. Ф. Маркс", основанную на архивных материалах, из которых немалую долю составляет деловая переписка А. Чехова с Л. Розинером.

Дома у нас имелось много книг из приложений к "Ниве". На корешках томов Достоевского золотом сияли инициалы "Л. Р." — это были экземпляры, имевшие персональное предназначение. На моей памяти остались лишь разрозненные тома из когда-то богатой "марксовской" библиотеки: во время войны, когда в течение нескольких месяцев в комнате жили посторонние, наши книги сжигались и разворовывались.

В журнале "Нива" №46 за 1912 год помещены портрет Лазаря Розинера и посвященная ему заметка. Я приведу здесь довольно обширную выдержку из нее, потому что сказанное там о личных качествах Л. Розинера может быть без сомнения отнесено ко многим представителям этой семьи — и к его брату Вульффу, и к его племяннику Якову, моему отцу:

"23 октября с.г. исполнилось двадцатилетие служебной деятельности Лазаря Евсеевича Розинера, занимающего в настоящее время должность управляющего конторой нашего журнала... Будучи человеком весьма интеллигентным и широко образованным (Л. Е. — кандидат прав Юрьевского университета), Л. Е. Розинер не мог, однако, замкнуться в рамках исключительно конторской деятельности. Свойственный ему широкий кругозор поставил его в непосредственную близость к чисто интеллектуальным интересам "Нивы" и ко всему тому, что возникает в ней навстречу умственным интересам читателя. После кончины Ю. О. Грюнберга (предшественник Л. Е. на должности управляющего. — Ф. Р.) Л. Е. Розинер является ближайшим сотрудником главных руководителей книгоиздательства А. Ф. Маркс, и на его долю выпадало ближайшее участие в решении тех или иных издательских вопросов и непосредственное проведение их в жизнь. Так, например, он был од-

ним из инициаторов того важного нововведения в нашем журнале, которое дало возможность подписчикам "Нивы" самым широким образом познакомиться с русской классической литературой и пополнить свои домашние библиотеки полными собраниями сочинений русских писателей, начиная с Ф. М. Достоевского.

Необыкновенно мягкий и сердечный человек, Л. Е. Розинер пользуется искренними симпатиями всех, кто близко знает его. Редко можно встретить человека более отзывчивого и к нужде человеческой и к запросам духа. Мимо него не проходит ничего из того, что волнует людей и как вопрос минуты и как вопросы более общего и постоянного характера.

Мягкий, отзывчивый и внимательный к людям, спокойно-твердый в ведении своего дела, Л. Е. Розинер отдал ему уже целых двадцать лет своей трудовой жизни. И дай Бог, чтобы его полезная работа в нашем журнале продолжалась еще долгие и долгие годы".

Пожелание, высказанное в последней фразе, не сбылось: в 1913 году Лазарь Розинер оставил работу в издательстве и выехал за границу. Отъезд был связан прежде всего с причинами личными. В течение многих лет подругой жизни Лазаря была русская женщина. Вероятно, их объединяла глубокая взаимная привязанность. Она была очень красивой и статной. Наверное, происходила она из простой среды, так как была неграмотна, и Лазарь сам учил ее читать и писать. Он хотел жениться на ней, но так как брак между иудеем и христианкой был невозможен, а креститься Лазарь не желал, они и выехали из России, чтобы за границей вступить в гражданский брак. Сначала они жили в Берлине, но из-за начавшейся Первой мировой войны переехали в Париж. Вернуться в Россию было уже невозможно, да и кто знает, хотели ли они этого? Там, в Париже, они и жили, и там же в 1929 году Лазарь умер. О судьбе его жены ничего не известно. Детей у них не было.

Лазарь, раньше других братьев вышедший на жизненную дорогу, оказал существенное влияние на судь-

бы младших — Вульфа и Александра: оба они оказались в разное время и каждый по-своему связаны все с тем же издательством А. Ф. Маркса. Так, именно Александру передал Лазарь свою должность управляющего конторой и ввел его в курс дела перед тем, как уехать за границу в 1913 году. Что касается Вульфа, то его связи с издательством установились много раньше. Для рассказа об этом нужно возвратиться к хронологической последовательности и продолжить выписки из автобиографии моего деда:

”На военную службу был принят в 1893 году, служил рядовым, и в суровых условиях казарменного — с мордобоем — режима потеряно было почти три года. Освободившись от военной службы, поступил в книжный магазин Н. П. Карбасникова в Варшаве учеником. Через 3 месяца был назначен помощником и вскоре заведующим оптовой торговлей. Здесь прослужил два года, получая от 25 до 75 рублей в месяц.

В 1898 году по предложению А. Ф. Маркса (издатель ”Нивы”) и брата моего, служившего в ”Ниве”, открыл в Одессе отделение конторы журнала ”Нивы” и склад изданий А. Ф. Маркса и при нем книжный магазин под фирмой ”Образование”. Кредит и весьма ограниченные средства для дела предоставили Маркс и брат, я же участвовал только личным трудом. Дело я вел совершенно самостоятельно, а брат в Петербурге (в рукописи Вульфа — ”в Ленинграде”, — писалось после переименования города. — Ф. Р.) исполнял поручения по снабжению местными изданиями.

Из дела мы с братом получали только определенную месячную плату за наш труд. Магазин сразу привлек к себе всю учащуюся молодежь, профессуру и интеллигенцию. Всем учащимся ВУЗ’ов я открыл отпуск книг в кредит с рассрочкой платежа от 50 коп. в месяц, что дало возможность всем учащимся приобретать необходимые им учебники и повысило уровень их знаний...”

В 1901 году Вульф Розинер женится. (В его ”Свидетельстве о выполнении воинской повинности” Вульф числится женатым с июля 1896 года. Возможно, была

какая-то фиктивная регистрация брака, позволившая ему в августе того же года уволиться в запас). Ему к моменту женитьбы было уже немногим меньше тридцати. Примерно того же возраста была и его невеста Кейле Лея Бронтих, уроженка Одессы. Это моя бабушка со стороны отца, которую всегда звали "бабушка Лиза". О ее семье сведения скудные. Известно, что и ее мать и ее бабка тоже коренные одесситки. Есть портрет Ханы Зайдеман — моей прапрабабки, с него смотрит сухонькая старушка вполне городского вида. Известно далее, что ее сын (дядя бабушки Лизы) Исаак Зайдеман был служащим одесской таможни, что, видимо, было редкой должностью для еврея. У Исаака было много детей, в основном дочерей. (Две из них, двоюродные сестры моей бабушки — басовитая, шумная Каролина и ничем не приметная Кика жили затем в Москве и навещали нас уже в мои взрослые годы.) Дочь Ханы Зайдеман — моя прабабка Эстер вышла замуж за Шломе Залмана Бронтиха, с которым у нее было трое детей — сын Исаак (?), Фаня и Кейле Лея (Лиза). Затем брак Эстер и Шломе Залмана распался. Эстер осталась в Одессе, а ее муж уехал за границу. Произошло это, вероятно, во времена юности моей бабки Лизы, которая отца помнила и любила. Жил он в Вене и там же скончался.

Немного о потомках брата и сестры моей бабушки Лизы. Исаак Бронтих имел двух детей, которых в семье звали Сема (Семен?) и Сея (Евсей?). Эти двоюродные братья моего отца с головой окунулись в революцию. Сея прожил недолго: в начале 20-х годов он умер от чахотки. Сема был комсомольцем, потом коммунистом, а затем был обвинен в троцкизме, арестован и, вероятно, погиб. Дети Фани — Михаил и Анна здравствуют поныне, это очень милые люди, живут они в Киеве. Моя прабабка Эстер жила у своих детей, также и в семье бабушки Лизы, но обузой, как видно, быть не хотела и старалась зарабатывать: она делала парики, — видимо, и для еврейских женщин.

У Вульфа (который звался и на русский лад — Владимир Евсеевич) и Лизы Розинер родились три сына, сначала погодки Семен (1902 г.) и мой отец Яков (1903 г.), а через два года Александр (1905 г.) По всему тому, с какой любовью мой отец вспоминал всегда родной дом в Одессе, свое безмятежное детство в обществе близких по возрасту братьев, по тому, как говорит он о своем отце, можно безошибочно утверждать, что это была дружная, счастливая семья, в которой домашнюю атмосферу определяли честный труд, разумность, культура и целенаправленное, без насилия и без излишнего попустительства, воздействие на детей.

В памяти отца остались, как это иногда случается, два "кадра", относящиеся к его самому "нежному" возрасту.

Первая картинка рисует эпизод волнений 1905 года (Якову всего два годика): мальчик стоит на подоконнике в квартире владелицы дома (они жили на Ришельевской, 12) и смотрит на ворота, ведущие с улицы во двор, сквозь ворота видно, как толпа переворачивает вагончик конки, и створки ворот поспешно закрываются...

Вторая картинка "цветная": мальчику четыре года (1907 г.), он играет во дворе с детишками, и вдруг запряженные лошадьми красные пожарные повозки въезжают во двор, с них соскакивают пожарники в блестящих касках и начинают выносить книги из подвала, где был склад отцовского магазина, и грузить их на повозки. И мальчик ощущает радостную гордость от того, что это "к ним", "к его папе" приехали пожарники!.. Книги увозили на сожжение, но мальчик этого не знал.

О магазине "Образование" существуют своего рода воспоминания и еще одного "мальчика" из Одессы. Ныне ему за восемьдесят, он прожил мало достойную жизнь продавшегося советским властям преуспевающего писателя, на старости лет решил оставить по себе в литературе славу тонкого стилиста, и вот последние его произведения явили собой дурную смесь

литературного лоска с отвратительной авторской сущностью, так и выпирающей из всего сочиненного им. Имя этого писателя Валентин Катаев. В его известной детской повести "Белеет парус одинокий", написанной в тридцатых годах и потому еще довольно живой, многое основано на детских впечатлениях автора, который в 1905 году (время действия повести) был ровесником своего героя Пети Бачея. В этой небольшой повести Катаев — писатель, склонный к изображению деталей, посвящает описанию магазина "Образование" больше страницы текста*:

"Но зато сколько неожиданной радости принесла Пете покупка тетрадей, учебников, письменных принадлежностей!

Как не похож оказался серьезный, тихий книжный магазин на другие, уже известные мальчику легкомысленные, вздорные магазины Ришельевской или Пассажа! Пожалуй, он даже был серьезней аптеки, во всяком случае — много интеллигентней.

Уже одна его узкая, скромная вывеска — "Образование" — внушала чувство глубочайшего уважения.

Был темный осенний вечер, когда Петя отправился с папой в "Образование".

Это было сонное царство книжных корешков, зеленовато, как-то по-университетски освещенных газовыми рожками и увенчанных раскрашенными головами представителей четырех человеческих рас: красной, желтой, черной и белой.

Первые три головы в точности соответствовали названию своей расы. Индеец был действительно совершенно красный. Китаец — желтый, как лимон. Негр — чернее смолы. И лишь для представителя белой, господствующей расы сделали послабление: он был не белый, но нежнорозовый, с гофрированной русой бо-

* Цит. по изд. Валентин Катаев. Повести и рассказы. Советский писатель, 1947, стр. 163–164, гл. "В приготовительном".

родкой. Петя, как очарованный, рассматривал голубые глобусы с медными меридианами, черные карты звездного неба, страшные и вместе с тем поразительно яркие анатомические таблицы.

Вся мудрость вселенной, сосредоточенная в этом магазине, казалось, проникала в поры покупателя. По крайней мере, Петя, возвращаясь на конке домой, уже чувствовал себя необыкновенно образованным. А между тем в магазине пробыли не более десяти минут и купили всего пять книжек, из которых самая толстая стоила сорок две копейки”.

Мой отец свидетельствует, что Катаев дал абсолютно точное описание интерьера магазина и царившей в нем атмосферы. Нужно еще добавить покупателей, которые имели свободный доступ к книгам; студентов, которые могли тут же, в магазине, присесть на стремянке, чтобы пробежать глазами пару страниц из учебника; стол в стороне, за которым мог быть владелец магазина Владимир Евсеевич Розинер. Сам он о своем магазине пишет далее в своей автобиографии:

”В 1905 году книжный магазин ”Образование” издает первую легальную в России социал-демократическую литературу. К. Маркс, Энгельс, Каутский, Лафарг, В. Либкнехт, Лассаль, Бабель, Менгер, Жорес и др. в сотнях тысяч экземпляров распространяются по всей России, едва успевая выйти в свет. Эта деятельность не могла ускользнуть от внимания администрации. Последовали обыски, конфискация и, несмотря на разрешение цензуры, административным порядком, когда в Одессе было объявлено осадное положение, сожгли всю наличность этой литературы.

Значительная материальная потеря и наступившая реакция настолько подорвали благосостояние дела, что потребовалось семь лет упорного, неустанного труда, чтобы возродить его. Считая невозможным идти по линии наименьшего сопротивления и восстанавливать дело посредством торговли из-под полы порнографической литературой, чем только и могла в эти годы реакции существовать книжная торговля, ”Образова-

ние” переходит на путь издательства. Начав с издания “Теории и истории политической экономии” Чупрова, которая выдерживает подряд несколько изданий, “Образование” выпускает для низшей, средней и высшей школ целый ряд учебников, которые получают широкое распространение по всей России”.

Судя по всему, дело В. Розинера достигло наибольшего расцвета в 1912—1913 годах. Магазин был переведен в новое, более просторное помещение на Дерибасовской, 18. В тот же дом из прежней тесной трехкомнатной квартиры в большую семикомнатную (она даже не использовалась полностью) переехала и семья, в которой подросли уже гимназисты-дети. Деятельность издательства пользуется известностью и уважением в кругах интеллигенции. Отец рассказывает, что посоветоваться по каким-то издательским делам приходили к ним домой Бялик и Равницкий. Однажды к деду пришел и беседовал с ним писатель А. И. Куприн, он просил за своего знакомого, который хотел издать книгу “Легенды Крыма”, и хотя эта тема выходила за рамки выпускаемого “Образованием”, из уважения к замечательному русскому писателю книга была принята и издана. В окружении деда и в числе его друзей были прежде всего люди из учительской среды, врачи. И при том, что деятельность его была связана с русской культурой и русским просвещением, при том, что в доме был только русский язык, окружение это оставалось почти исключительно еврейским. То же говорит и мой отец о своих детских знакомствах и привязанностях: дружили и играли только с еврейскими детьми, если не считать нескольких случайных знакомств.

Уже говорилось, что детство моего отца Якова и двух его братьев было счастливым. С сохранившихся их детских фотографий смотрят умные, спокойные, по-настоящему красивые лица трех мальчиков, — лица, которые вызывают восхищение и грусть: возникает чувство, что такие дети и не живут в этом жестоком и страшном мире, как не живут в нем ангелы... Но тогда и для этих детей мир еще выглядел солнечно и радуж-

но. Они весело играли со сверстниками и читали хорошие книжки; летом на загородной даче у моря, снимавшейся ежегодно, гуляли среди виноградников, в степи и в овраге, отец учил своих сыновей верховой езде, гребле и плаванию, и сами они, взяв лодку у знакомого рыбака, уходили далеко в море... О них заботилась любящая и строгая мать, которая однажды, в 1913 году, взяла их всех троих и отправилась в Швейцарию, чтобы провести лето в Альпах. Ехали через Варшаву, и дед Йехошуа Арье, живший в Люблине, приехал, чтобы повидаться со своими внуками.

Была у детей няня, звали ее почему-то по фамилии: "няня Бабасюк". Одно время приходила к ним учительница французского.

Дети росли и один за другим поступали в гимназию, — сначала Сема, затем Яков и Шура. Вот что рассказал мой отец о своей семье и первых гимназических годах:

— Я бы сказал, что у нас была ассимилированная еврейская семья. В доме говорили только по-русски, на идиш лишь немного и только друг с другом мама и бабушка. Бабушка была религиозной, но при этом русский знала хорошо и много читала. Но дома отмечались такие праздники, как Ханука, Рош-ха-Шана, Йом-Киппур, Пурим и особенно Пасха, для которой в доме производилась подобающая уборка и устраивался пасхальный *седер*. В Йом-Киппур отец держал пост, мы, дети, постились по нашему желанию. Иврит и молитвы отец знал хорошо, но в синагогу ходил только по большим праздникам. В субботу его магазин работал, закрывался по воскресеньям. К 13 годам отец приобрел для нас *тфиллин*. Некоторое время, может быть, месяц-два, мы занимались с учителем ивритом. Но отец предоставил нам возможность самим определить свое отношение к религии и к еврейству и своих взглядов на эти проблемы нам никогда не навязывал. И мы, дети, религиозными никогда не были. Но мы всегда знали, что мы евреи. Никогда этого не стыдились, скорее,

гордились своим еврейством. И, как и отец, презирали выкрестов.

То, что нет равенства между евреями и русскими, я с самых ранних лет воспринимал как что-то естественное. Так, происхождение наше вызвало трудности при поступлении в гимназию. Нас отдавали учиться в 4-ю Одесскую гимназию, которая слыла в городе либеральной, при том, например, что 1-я (Ришельевская) считалась "аристократической", а 2-я и 5-я были откровенно черносотенными. Кстати, директором у нас был Бесмертный, описанный в автобиографической повести К. Паустовского.

В гимназию евреи принимались так: между еврейскими детьми проводился конкурс, и лучшие из них принимались на места, отведенные для евреев в соответствии с процентной нормой. Когда мой брат Сема учился в подготовительном классе, там было 6 евреев. Но в первый класс, согласно проценту, могли поступить только пятеро. Поэтому родители всех шестерых договорились, что самый младший из детей останется на второй год в подготовительном. Самый младший оказался одним из самых успевающих. Это был Мара Зайдлер, с которым и я, поступив в подготовительный, провел вместе учебный год. Нам обоим предстояло перейти в 1-й класс, когда министр просвещения Кассо, известный своим юдофобством, издал новое положение. Оно имело целью изменить нежелательную картину: так как евреям приходилось соревноваться друг с другом в трудном конкурсе, то в гимназиях ученики-евреи оказывались всегда среди самых способных, и поэтому в классах они быстро занимали первенствующее положение по сравнению, положим, с русскими или армянами, которые принимались без всякого отбора. Новое положение гласило, что евреи принимаются не по конкурсу, а по результатам простой жеребьевки, исходя, разумеется, из процентной нормы. И вот, при переходе в 1-й класс, оказалось, что для евреев остается... только одно место. Из пятерых подготовивших мог учиться дальше только один, и случаю было

угодно, чтобы им оказался я... А Мара Зайдлер, который два года был из лучших, оказывался вне гимназии! За него ходатайствовали — и руководство гимназии, и родители, хотели поставить в классе дополнительную парту, но попечительский совет не соглашался. Дело о пятерых еврейских детях решалось в Петербурге, и только уже в середине учебного года удалось добиться, чтобы их все-таки приняли.

В гимназии я с удивлением узнал, что все иноверцы — армяне, греки, немцы-лютеране — пользовались всеми правами наравне с русскими, а ограничения касались только нас, евреев. Но антисемитизма в гимназии не чувствовалось. Лишь однажды, еще в первом классе, один из учеников сказал мне "жид". Я его избил. В наказание мы оба были оставлены, как это тогда называлось, "без обеда".

В самом начале первого гимназического года был однажды урок "Закона Божьего". Единственный нехристианин в классе, я сидел и читал какую-то постороннюю книжку. Подошедший ко мне "батюшка" — отец Новик — спросил возмущенно: "Ты что это делаешь?! На уроке Закона Божьего книжки читаешь?" Я ответил: "А я не должен изучать Закон Божий. Я иудей". — "Вон!" — приказал отец Новик, и я вышел из класса. По пустому коридору проходил Бессмертный. "Ты что тут делаешь? Почему не на занятиях?" Я объяснил. Директор справился о моей фамилии и, ничего больше не добавив, удалился. Когда же через несколько дней был следующий урок Закона Божьего, мне велено было пойти в один из свободных классов. Там ждал меня новый учитель, приглашенный директором специально для того, чтобы заниматься со мной историей еврейского народа — в те часы, когда все остальные заняты уроком Новика. Учителем был очень приятный, располагающий к себе человек лет пятидесяти по фамилии Сегаль. Он был слеп и носил темные очки: ему выжгло глаза во время химического опыта. Сегаль преподавал химию в еврейской школе, а может быть, и директорствовал в ней. Он был зна-

ком с моим отцом. Приходил он в мою гимназию раз в неделю по субботам. После занятий я провожал его домой, по дороге мы с ним вели всегда интересные для меня беседы. Когда в класс приняли пятерых остальных евреев, они присоединились к нашим занятиям, и Сегаль вел эти уроки с нами в течение первых двух гимназических лет...

В эти годы (первый и второй классы гимназии) моему будущему отцу десять-одиннадцать лет. И хронологически, рассказав о его семье и о его раннем детстве, мы подошли к тому же периоду, на котором прервали изложение записок об Узлянах, где живет семья Рабиновичей. Вернемся теперь вновь в те края.

ГЛАВА ПЯТАЯ

НА СМЕНЕ ВРЕМЕН УЗЛЯНЫ: ВОЙНА. РЕВОЛЮЦИЯ

Семья Шмуэля Давида Рабиновича жила, как уже упоминалось, в доме Рувена Мойше Соловейчика. Сам Шмуэль Давид писал, правда, в своих записках о том, что после разрыва с родителями жены он снимал маленький домик. Но, вероятно, это продолжалось недолго: он, жена Эстер и маленькая Юдит перешли к старику Рувену Мойше — "по постановлению семейного клана", как говорит об этом моя мать.

Из записок Шмуэля Давида достаточно хорошо видно, какой "крепкой" личностью был его тесть Авраам Аарон Фельдман — "дедушка Арке". По его имени все большое семейство Арке называлось великолепным прозвищем "Арковщина". Можно представить себе, что этот "клан" при немалом богатстве и самого Арке и его сына Шеела Давида Фельдмана, тоже державшего лавку, являл собою в местечке что-то вроде "государства в государстве", где следовали собственным законам бытия, нарушителям которого, как мы видели, приходилось несладко...

Арке, при всей его житейской и коммерческой хватке, был очень религиозен и не смел преступить традиционных установлений. Однажды в его лавку пришла помещица и протянула хозяину руку, — что было при

царивших тогда сословных и национальных барьерах знаком большого благорасположения. Но на еврее лежит запрет касаться чужой женщины! — и Арке, делая вид, что не замечает протянутой руки, ныряет под прилавок, будто бы желая что-то достать и показать помещице... Ночами Арке вставал и молился. Как-то зимним утром он отправился в синагогу, в темноте надев на голову что-то меховое, чтобы укрыться от мороза. В синагоге люди увидали, что на голове у Арке... были теплые штаны его супруги!

Он был невысок, красив, подвижен и остроумен. Его жена Элька (дочь Рувена Мойше Соловейчика) была крупной, выше мужа и некрасива. Она брила голову и так и ходила по дому бритой, и лишь выходя на улицу, надевала парик.

Религиозность ее стала чем-то болезненным после двух страшных несчастий, обрушившихся на семью. Первое из них произошло, когда однажды заболели двое маленьких детей. Элька пошла в аптеку за касторкой. Аптекарь же был глухим и вместо "рицини" дал что-то ядовитое. Элька принесла лекарство домой и даже отлила немного "рицини" соседке. Соседка дать лекарство своему ребенку не успела. Но двое детей Эльке отравились и умерли. Именно после этого события она обрила голову, стала делать много пожертвований и досконально выполнять все религиозные правила. Однако потом случилось и еще одно ужасное происшествие. Среди прислуги, нанятой в дом для помощи по хозяйству, была нянька — еврейка, ухаживавшая за детьми. Она сговорила с любовником бежать за границу, ограбив предварительно хозяев. И они осуществили свой план жутким способом: нянька дала одному из детей выпить серу от спичечных головок, а когда ребенку стало плохо и в доме поднялась паника, оба преступника подожгли чердак лавки в расчете на то, что пожар уничтожит следы совершенного ими и покроет ограбленное. Ребенок погиб, пожар нанес большие убытки, а убийце и ее дружку действительно удалось скрыться. Религиозность Эльки дошла почти до поме-

шательства. И это стало поводом ее внезапной кончины. Однажды перед наступлением субботы, уже одетая по-праздничному, Элька несла что-то к столу, когда вошла соседка и воскликнула: — "Элька, ведь суббота уже! Ты не зажгла еще свечи?!" От сознания своего греха Элька упала и скончалась на месте...

Арке по прошествии некоторого срока женился вторично. От этого брака детей уже не было. Вести большое хозяйство новой жене помогала одна из дочерей Арке — Ривка. Две незамужние дочери постоянно работали в лавке. По нынешним понятиям эта лавка была чем-то напоминающим универсальные магазины типа "сельпо" ("сельское потребительское общество") где-нибудь в крупном советском селе. В лавке было три отделения. При входе, сбоку, располагался большой склад хозяйственно-скобяных товаров: деготь и керосин, гвозди и огородные инструменты и т. п. Далее, в основном помещении, слева были полки с разнообразными тканями из Риги, от фабрик фирм Циндера и Морозова — холсты, ситцы, батист, ткани множества сортов и расцветок. Против входа были прилавки и полки с галантереей: нитки, пуговицы, украшения, кошельки и проч. Чуть подальше, рядом с галантереей, продавались бакалейные и "колониальные" товары: соль, сахар, крупы, кокосовое масло, орехи, чай, гвоздика, корица. А в отдельной пристройке находились так называемые "благородные товары", которые покупались наиболее зажиточными людьми и окрестными помещиками: ткани типа бархата и плюша, шелк, хрусталь и дорогая посуда. Продавались в лавке также готовая одежда и обувь. Словом, там было все необходимое. Чердак (тот, который подожгли) был полон добра, счета которому никто не знал. Торговать Арке умел, как видно, неплохо. Вот любопытная подробность из его деловой практики: был придуман специальный условный код, которым хозяева пользовались для переговоров между собой, — для того, чтобы скрывать от покупателя "информацию". В основу кода было положено слово ХЛ Ъ БНИКОВЪ. Каждой букве

этого слова от первой до десятой соответствовали порядковые номера 1, 2, 3 и т. д. Покупателю назначалась цена, положим, 3 рубля 50 копеек. Он платить ее не соглашался. Тогда Арке тихонько бросал дочери: — "ЭЛ-О!". Дочь знала, что буквы "Л" и "О" означают "2" и "8". Таким образом отец разрешал спустить цену до 2 рублей и 80 копеек.

Уйдя вместе с мужем из этого богатого дома, дочь Арке — моя бабушка Эстер Рабинович — обрекла себя и свою семью на трудное существование. Говорят, что она не отличалась хозяйственностью. Да и не было особенно где развернуться ее хозяйственным возможностям, так как заработки ее мужа всегда были скудными, он больше времени и сил тратил на общественные, чем на собственные нужды. Мы это уже знаем из записок Шмуэля Давида. Подкармливал семью небольшой огородик, где детям разрешалось "пасть" и срывать то, что уже поспевало — лук, огурцы, морковь, бобы, кормило и картофельное поле. Держали также кур и, главное, корову, которую звали Лобатка — оттого, возможно, что у нее были короткие рога.

Корова и куры помещались в хозяйственной пристройке позади дома. Сам дом Рувена Мойше Соловейчика, где моя мать, ее братья и сестра провели свои детские годы, представлял собой обычную бревенчатую избу-пятистенку, крытую дранкой. Из передней части избы перегородкой отделялась комната, где стояли кровати родителей и обычно не пустовавшая колыбелька младенца. Кровать старшей дочери Юдит находилась за печью и выгораживалась большим шкафом, попавшим в дом от какого-то помещика. В углу, на поставленных вдоль стен лавках, спали остальные дети. Дальняя часть избы служила кухней. Там была большая русская печь с лежанкой, имелся у печи и "припечек" — кирпичный выступ, в теплое пространство под ним пускались на зиму куры. На лавках стояли ведра с водой, а под одной из лавок — "цибер", деревянная миска с коровьим пойлком. Существовал чердак, где хранили сено, а также и яблоки. Во дворе

имелся погреб, а в нем — бочонок квашеной капусты: больше в погребе держать было особо и нечего...

Семья едва-едва сводила концы с концами, но при этом Эстер подкармливала бедных женщин, а Шмуэль Давид, возвращаясь в субботний вечер из синагоги, обязательно приводил к праздничному столу кого-то из бедняков. Забегая вперед, стоит рассказать здесь трогательный случай. Когда в пору настоящего голода, уже в 1919 году дом оказался без отца, которого арестовали поляки, восьмилетний Шаул пришел из синагоги с гостем. Растерянной матери он сказал: "Отец так делал, и я тоже должен так же поступать". Эстер расплакалась слезами и горькими и счастливыми...

Записки деда Шмуэля Давида Рабиновича (продолжение)

В 1914 году в один из летних вечеров слышали мы о войне и мобилизации. Еврейское население было этим очень испугано. Все еще помнили то, что было в прежние годы, в 1903 году (имеются в виду погромы, которые прошли с началом русско-японской войны.— Ф. Р.). И когда объявили войну, жители местечка знали: кроме того, что отцов и братьев заберут в армию, нужно быть готовыми к погромам, и избежать их не удастся, потому что мобилизованные идут через местечко. В японскую войну именно так и было: шли мобилизованные и грабили и убивали.

К этим дням стали готовиться. Кое-кто начал прятать товары, свою одежду, вещи и посуду, даже начали готовить убежища, чтобы прятаться самим. Я как общественный деятель тоже не мог сидеть сложа руки и обратился по телефону к уездному начальству с требованием прислать нам полицию для охраны. Я объяснил ему, что все возможное мы уже сделали сами. Мы сняли вывески с лавок, чтобы было неизвестно, где можно больше награбить, закрыли монопольную

лавку, а водку закопали в землю. Сделав все, что надо, я требовал теперь, чтобы и начальник уезда со своей стороны сделал все необходимое. Но он ответил, что ничем не может помочь: у него не хватает полицейских даже для охраны порядка в самом городе. Как же, спросил я, охранять банк и гражданское правление, за которые я был ответственным? Он обещал, что пошлет из деревень десятских, которые будут охранять нас. И действительно, на следующий день утром я нашел несколько немощных стариков с палками, пришедших, чтобы сидеть у дверей. Это меня не успокоило. Я стал прилагать усилия для организации самообороны и прежде всего подготовил оставшихся после мобилизации членов пожарной команды. У нас уже был опыт 1905—1906 годов. Тогда мы погромщиков побили, и они больше не посмели напасть на нас. Любопытно, что те из жителей, что прежде против самообороны возражали, теперь добровольно шли помогать нам. Я расставил одетых в пожарную форму сторожей и сам постоянно обходил все селение, следя за солдатами, направлявшимися через местечко на станцию. У проезжавших на подводах я требовал, чтобы они в местечке не останавливались, а продолжали продвигаться. Поэтому и пешие солдаты, боясь отстать от подвод, шли без остановок следом. На базаре я устроил продажу хлеба, молока и других съестных продуктов для того, чтобы солдаты не начинали искать в местечке лавок для нужных им закупок. Торговавшим же обещал, что в случае убытков от продажи община им все возместит. Единственный в местечке полицейский получил от меня подарок в обмен на обещание быть в нужный момент к моим услугам. Но получив свой подарок, он исчез, и никто не знал куда.

Так и прошла мобилизация. Новобранцы проследовали мимо, было тревожно, но, кроме нескольких незначительных инцидентов, ничего не произошло. Двери в домах были заперты, ставни закрыты, женщины и дети попрятались. Я хотел добиться большего и просил начальство, чтобы мобилизованных вели другой доро-

гой, в обход местечка. Об этом уже почти удалось договориться, но в губернии вспомнили, что там по дороге есть водочный завод, и это могло стать причиной еще больших неприятностей. Незадолго до того случилось подобное в одной из губерний, и мое предложение было отвергнуто.

Помимо прочего, я созвал на кружку пива крестьян окрестных деревень, объяснил им, что положение неспокойное. Сказал, что мы послали новобранцев не меньше, а может быть и больше других: 90 человек от 150 семей. До сих пор, говорил я, мы жили в мире и братстве и вместе трудились. Близость местечка приносила вам только пользу. И мы должны и дальше жить в дружбе и помогать друг другу. Если вы держите про себя что-то плохое против евреев, то не таитесь! Мы тогда тоже найдем время и подходящий повод отомстить вам. Мы желаем только хорошего всем уходящим на войну и надеемся, что нам ни от мобилизованных, ни от вас ничего плохого не будет. И с добрыми пожеланиями мы расстались.

С ходом войны фронт приблизился, началось большое отступление. Солдат везли по железной дороге, проходящей в 6 верстах от местечка, и там они всюду устраивали погромы. Грабили и громили в Руденске, а на станции Пережера (ближайшая к местечку. — Ф. Р.), где жил один только еврей, учинили дикое насилие. Я был там спустя несколько дней после погрома и видел дикие картины: валялись страницы еврейских книг, летал пух, валялась разорванная одежда по всей деревне. В доме еврея двери и ставни были выломаны, мебель разбита, будто именно здесь и прошла война. Были слухи, что солдаты хотели двинуться к нам, но поезд отправился дальше, и они уехали. Что же будет, когда солдаты окажутся на постое около нас? Беспокойство и тревога продолжались.

И вот наступил час испытания. Это произошло в последний день праздника Сукот 1915 года. Все были в синагоге, когда пришла весть, что к местечку приближаются казаки. Это были самые отъявленные погром-

щики, а во время войны их и подавно ничто не могло сдержать. Поднялся неопиcуемый крик и плач. Людей охватил страх, женщины падали в обморок. Открыли *арон-кодеш*, думая, что поможет... Собрали в синагогу детей, девушки попрятались в погреба и на кладбище, даже молодые нееврейки, работавшие в домах по хозяйству, тоже в испуге стали прятаться. Народ в синагоге стоял теперь молча, в полном отчаянии. Я обратился к людям, просив их не волноваться, прежде чем я не выясню, верны ли эти слухи. Снял талес и вышел на дорогу, на которой могли появиться казаки. Несколько мальчишек и несколько взрослых из тех, что посмелее, вышли со мной и издали наблюдали, как я иду по улице, ведущей к станции. В конце местечка я увидел пятерых казаков с нагайками в руках и с шашками на боку, в папахах и с выбивающимися из-под них чубами. На лицах их были решительность и наглость. Я первый поздоровался и сказал: "Земляки, вы, как видно, хотите здесь купить что-нибудь? Очень жаль, гости дорогие, все лавки закрыты: у нас праздник. Но если соблаговолите сказать, что вам необходимо, я постараюсь достать все необходимое. Хотя сейчас и праздник, но в военное время нужно для солдат, о которых мы все заботимся, делать все, что только возможно". Они ответили, что им нужны папиросы и махорка для курева. Подошедших мальчишек и молодых людей я немедленно послал за папиросами и табаком, тем самым не выдавая казакам, где лавки. Затем они спросили, есть ли здесь цирюльник. Я ответил, что есть, но возможно, что на праздник он уехал домой. Сам же послал спросить, не придет ли он. Тот пришел, но сказал, что, во-первых, не хочет работать в праздник, а во-вторых, боится пустить казаков к себе домой. Я его успокоил и просил все сделать для них, тем более что ему, частному человеку (не от общины? — Ф. Р.), нечего бояться. Он их постриг, и теперь надо было угостить пришельцев, но кто же свяжется с такими гостями? Я повел их к себе. Жена тоже была в испуге, но она привыкла, что у нас дома случались

неожиданности самого разного рода. Жена приготовила еду и чай, и мне пришлось сказать им, что нет сахара, — ни у нас, ни во всем местечке. Тогда они достали конфеты и стали раздавать их ребятишкам, собравшимся вокруг, чтобы поглядеть на этих дикарей, которые навели на взрослых столько страха. Во время трапезы мои гости сказали, что им нужен хлеб для ожидавшего на станции отряда. Я послал людей из дома в дом, чтобы собрали хлеб, и когда каждый отдал, сколько мог, собралось нужное им количество. Они закончили обед и должны были возвращаться, но для четырех мешков хлеба требовалась подвода. Тут уже была задача непростая: кому сказать, чтобы он запряг лошадь и ехал с казаками? Гои — и те не хотели такого "заработка". И тут случилось, что ехал через местечко к станции крестьянин. Я стал торговаться с ним, но он, видя, что тут происходит, не соглашался везти хлеб ни за какие деньги. Тогда казаки возмутились. Ведь мы, евреи, все дали им без всяких денег! И они приказали крестьянину ехать, чему он, тонятое дело, подчинился без разговоров. Деньги, собранные для возчика, я отдал казакам, чтобы они заплатили ему.

Помимо погромов было и многое другое, что тревожило нас. Прежде всего, исчезла мелкая разменная монета. Правительство не пускало мелочь в оборот, и напротив, изымало металлические деньги из обращения. Но именно теперь, во время войны, когда мимо шли солдаты, мелочь была особенно нужна, так как незнакомым в долг не дают. Бумажные деньги никто не хотел брать, а так как металла не было, начали обвинять евреев в том, что они прятали серебро, особенно лавочников, которые будто бы берегли серебро для неприятеля-германца. У лавочников делались обыски, у них отнимали товары, не заплатив за них, без конца из-за этого были скандалы и ссоры.

Для нашего местечка я под свою ответственность изготовил бумажные купоны, которые ходили вместо мелочи. Как-то раз одного бедняка, который был бо-

лен и чьи дети постоянно чуть ли не умирали с голоду, обвинили в том, что он послал немцам золото: будто бы зарезал он телят, положил в тушу золото и послал аэропланом к немцам. У нас, кто знал бедняка, это вызвало только горький смех: он никогда не видел в глаза золотой монеты. На этом случае мы могли убедиться, сколь прискорбно было наше положение: в то время как мы посылали своих братьев и сыновей на фронт, нас подозревали в шпионаже и в ненависти к родине... Интересно, что однажды в местечко пришел чиновник и в миролюбивом тоне сказал, что для нашей же пользы нам не следует прятать серебро. В сущности, он не верит, продолжал чиновник, что мы посылаем деньги немцам, но нам из-за отсутствия мелочи не следует повышать цены на продукты, сахар, керосин, и нам следует вынуть мелочь и выдать шпионов и дезертиров. Когда один из приглашенных на беседу с ним со слезами на глазах ответил, что нам уже ничего не поможет и мы ни в чем не сможем оправдаться, если нас подозревают уже и высокие власти, чиновник сказал, что ему оправдания не нужны: "Я евреев знаю".

В местечко пришел от властей запрос, есть ли у нас жители, которые желали бы поставлять армии обувь и хлеб по установленным ценам. Я созвал сапожников, мы подсчитали и нашли, что на этом можно заработать. Но трудность была в том, что эти ремесленники были небогаты и жили только на заработанные деньги, на которые кормили семью, а вложить капитал на покупку материала и ждать, когда государство с ними рассчитается, они не могли. Я добровольно взял на себя роль подрядчика и их доверенного лица. Они стали работать и сшили сотни пар обуви и носков. Готовый товар я взял в Минск. Но оказалось, что в военной администрации было много взяточников. Так как я им ничего не дал, они нашу работу забраковали и не приняли ее. В конце концов мне пришлось продать все по низкой цене более крупному подрядчику, и

я получил меньше, чем пошло средств на изготовление заказа. На все это я сам потратил много денег. Сапожники в местечке отвернулись от меня: у них не было денег ни на жизнь, ни на то, чтобы возместить свои убытки.

Страх перед мобилизацией чувствовал и я. Опасаясь, что во время военного положения и меня могут вызвать на комиссию для выяснения, годен ли я к военной службе, я решил найти себе работу, которая позволила бы освободиться от армии и избежать фронта. Я поехал в Минск, и пока крутился там в холодный день с дождем и снегом, простудился и получил приступ ревматизма. Жена была вместе со мной, и мы жили в Купеческой гостинице, пока я не почувствовал, что в состоянии ехать домой. Мы вернулись, и спустя некоторое время я стал думать о заработке: все, что у нас было, ушло на неудачные дела с подрядом и на время болезни. Зарплату из банка, где я числился, мне брать не хотелось, так как там сейчас не было никаких операций, и совесть не позволяла получать оттуда деньги. Озабоченный бродил я по дому и успокаивал жену: "Не беспокойся, когда Бог хочет, и метла стреляет" (Эта поговорка написана на идиш — Ф. Р.). И вот после долгого перерыва я впервые вышел на улицу, хотя жена считала, что рано и мне нужно пока побережться. Я обещал, что лишь пройду около дома. И когда я так прохаживался, появился какой-то полковник, спросивший, кто мог бы доставлять мясо и хлеб солдатам, рывшим окопы. Я взял это на себя. Достал муку, и во всех домах местечка стали печь хлеб... Каждый, у кого только была печка, пек хлеб для меня, и у людей появилось много работы. Так что я смог сказать жене: "Ну вот, видишь, метла выстрелила".

Старосту, если даже он не справлялся с обязанностями, с его должности сместить было нельзя. По закону старосту выбирали, но начальство, которое имело с ним свои дела, новых людей не искало. И старосты, ко-

му начальство помогало держаться, всегда оставлялись на своих местах. Перед выборами они создавали видимость какой-то деятельности, и получалось, что их вновь переизбирали.

В местечке давно хотели сделать старостой меня, и все знали, что начальство в уезде не станет возражать против этого, потому что и без того все, что ни делалось для властей, делал именно я. Но по нескольким причинам я быть старостой не хотел. Во-первых, не хотелось смещать старого, больного человека и отбирать его заработок. Во-вторых, не хотел быть зависимым от людей. Не хотел я и брать на себя ответственность перед властями. И кроме того, у старосты не было постоянного жалования, ему платили за каждое выполненное поручение.

В первое время я еще не считался гражданином (мещанином) местечка. Староста несколько раз предлагал мне записаться в мещане Узлян, а я говорил в ответ, что ему же это не выгодно, так как меня захотят сделать старостой вместо него. Он отвечал, что не боится этого, и так как мне все доверяют, он хочет лишь облегчить мне то, что я и без того делаю для местечка. Получив соответствующее разрешение, он записал меня в мещане Узлян. Прошло несколько лет, и старик умер, оставив жену и несколько детей. Я позвонил волостному начальнику и сказал, что после смерти старосты все документы лежат без надзора. Начальник предложил мне пока забрать все к себе. Но я не согласился. Время было военное. Старостами делались малозаконные дела, касавшиеся, например, освобождений от военной службы и тому подобные. Я сделал ключ, навесил на шкаф замок и ждал приезда начальства. По приезде в местечко начальник переписал документы, составил протокол и отдал все мне на хранение до выборов старосты.

Состоялись выборы, и меня избрали единогласно. Волостной начальник написал на меня рекомендацию и послал ее в уезд. Уезд послал ее в губернию. Но в губернии выборы не утвердили и потребовали провести

новые. Прошли новые выборы, где снова избрали меня и вдобавок написали прошение об утверждении меня в должности. Опять все это прошло через волость и уезд, и опять губерния не утвердила. Меня избрали в третий раз, и делегация из трех уважаемых жителей отправилась в губернское управление. Там им объяснили, что по закону губерния несет ответственность за старост и их дела, начальство же боялось иметь старостой молодого человека с энергией и знанием законов. Делегация вернулась удрученной. Посоветовавшись, в местечке решили: выберем все равно его (то есть Шмузля Давида.— Ф.Р.), а губернатору пошлем другое имя. Подставным лицом записали моего тестя, посчитав, что он не будет мешать мне. И кроме того выбрали помощника — кузнеца Якова Окуня, который по своей темноте ничем не будет интересоваться и, значит, тоже мешать мне не станет. Контору старосты я перевел в дом тестя и там работал. Ставил подписи то за старосту, то за помощника. Начальники волости и уезда знали обо всем этом, но их я не боялся, не хотел только, чтобы знали в губернии.

Как-то из Минска приехал человек по фамилии Рудельсон. Он сделался раввином, заняв место своего тестя, оставив ради этого купечество, так как не хотел идти в армию. Приехал он для сбора денег на иешиву. Но зайдя ко мне, сказал, что сбор денег — это только повод, причина же его приезда совсем иная. В иешиве было несколько очень ученых ребят, и он хотел, чтобы они могли и дальше сидеть на месте спокойно и избежали мобилизации. Рудельсон попросил выправить на них бумаги, и я устроил освобождение для них, сделав все документы за подписью уже умершего старосты.

В другой раз случилось, что привели ко мне парня по имени Элияху Фукс. Уже входя ко мне вместе с задержавшими его, он спросил: "Правда же, что я Ицхак Бен-Элияху Фукс?" Я открыл книги и удостоверил, что он Ицхак Фукс, несовершеннолетний. На самом же деле, настоящий Ицхак Фукс был в Америке, и ему мобилизация не грозила.

Однажды я получил телеграмму: генерал жандармерии требовал, чтобы я явился в Руденск с книгами и печатью. Было это в Сукот. Оказалось, что на станции арестовали парня по подозрению, что его документы не в порядке. Подписаны они были той же подписью Окуня. Я показал книги, и это подтвердило, что документы правильные.

Случалось, что требовали давать людей с лошадьми для работ на армию (на окопах.— Ф.Р.). Для крестьян это было не столь обременительным, как для евреев, так как еврей живет с ежедневного заработка, и если он месяц не работает, ему нечем кормиться. За эти же работы государство не платило. Я предлагал, чтобы община давала деньги тем, кто отправлялся на работы со своей лошадью. Но в местечке этому воспротивились. В конце концов я дал где нужно небольшую взятку, и дело обошлось.

... Узляны место тихое. Находится оно в 35 верстах от губернского города. И нет в местечке партий и общественных деятелей. А пояись там такой — он сразу найдет себе поле деятельности в губернском центре.

Веяния Февральской революции 1917 года почувствовались у нас в местечке уже в марте. Но не находилось никого, кто стал бы устанавливать здесь новый порядок. И во всех окрестных деревнях крестьяне были в растерянности, смотрели друг на друга и не знали, с чего начать.

Я первый начал беседовать с молодежью на темы о новой власти. Мы выбрали комитет представителей местечка и ближайшей деревни и от имени этого комитета послали в 25 — 30 окружающих деревень делегатов, которые объясняли, что произошло в Петрограде и Москве. Объясняли, что надо делать, и предлагали, чтобы каждая деревня выбрала своего представителя с тем, чтобы потом собраться в волостном управлении, где будет упразднена старая власть и установлена новая.

В назначенный день собрались делегаты — по три человека от каждого селения. Сказав несколько слов, я

попросил главу волостного правления передать власть вновь избранному комитету. Я с ним предварительно беседовал об этом, выражая свое сочувствие и объясняя, что сделать так будет лучше в интересах волости и дела. Он согласился со мной, я же с ним советовался, кого имело смысл выбрать от деревень. Мы обсуждали все с ним вполне по-дружески. Заранее также я послал позвать полицейских, чтобы они явились сдать оружие. Они пришли на собрание с поникшими головами, так как знали уже, что во многих местах толпа расправлялась с полицией. Я обратился к народу с просьбой не обвинять этих людей, сказав, что они были исполнителями долга, служили власти, и другого выхода у них не было. Не надо им мстить, сказал я, и тогда они останутся нашими друзьями и будут нам помогать. На виду у всего народа мы расцеловались, и они ушли.

То же было и с секретарем управления. Собрание требовало уволить его немедленно. Однако я понимал, что на его место следовало сначала подобрать кого-то, кто принял бы документы и книги, и потому попросил дать ему две недели сроку, чтобы он мог подыскать себе место, а за это время сдал дела.

В руководство волостного комитета выбрали меня и еще четырех крестьян. Мне пришлось выполнять и обязанности секретаря. Через несколько недель я нашел человека на эту должность, распределили работу, и каждый член комитета получил свое управление. Я стал вестись продовольственным управлением.

В мои обязанности входила доставка пропитания для всей округи. Цена на хлеб росла изо дня в день. Но я старался, чтобы в волости держалась государственная цена. Крестьяне много раз выражали недовольство, что местечко закупает весь хлеб, но я объяснил им, что у жителей местечка нет земли, и если мы не будем доставлять им хлеб, они начнут искать его сами, цена на него будет расти, и настанет голод. Так что уж лучше, чтобы мы управляли этим сами.

Вообще, мои сотрудники меня ни в чем не подозревали, они видели, что я знал, как сделать получше.

Я же устроил, чтобы кое-кто из помещиков тоже вошел в члены Совета (или комитета? — возможно, что речь идет об исполнительном комитете Совета волости? — Ф. Р.). Так, наш помещик (Сергей Иванович Бунге) тоже был в продовольственной комиссии. Он, конечно, ничего не делал, а я работал за него и получал его жалование. И во всей волости царили дружба и мир. Председатель волости (Владимир Чеховски) был отличным, приятным в обращении человеком, образованным и умевшим хорошо ладить с народом. Он оставался моим другом до самой своей смерти. Он ничего не делал, не посоветовавшись со мной. Один раз он признался мне, что припрятал от немцев тысячу рублей.

Часто бывало, что начинались обвинения в адрес евреев, будто они спекулируют, взвинчивают цены и делают всякого рода злоупотребления. Но все это улаживалось благодаря тому, что председатель мне доверял.

(Вышеописанное относится к периоду до большевистской революции. Далее следует некоторый "перескок" в хронологии: о власти большевиков до прихода немцев — уже в 1918 году, здесь почти не говорится. — Ф. Р.)

После того, как немцы пришли на смену большевикам, началась другая жизнь. Они установили более строгий порядок. Председателем вновь выбрали Чеховски, с которым я был в дружбе, я же стал старостой, или, как это у них звалось, "бургомистром", и их комендант утвердил меня в должности. Кроме того, я был переводчиком. Немцы советовались со мной по поводу самых различных дел, а я, конечно, заботился об интересах жителей. Однажды наши места посетил немецкий генерал, и я встречал его вместе с военным комендантом. Генерал расспрашивал о жителях, об их жизни, спросил, есть ли около моего дома вооруженная охрана.

Во время власти большевиков свобода царила во всем, в том числе и в лесах. И каждый, кто хотел, ру-

бил лес, ни с чем не считаясь, и, конечно, никому за лес не платили. Но пришли немцы, и помещики потребовали платы — и за древесину и за убытки. Простые мужики, ни в чем не разбираясь, заплатили, сколько с них потребовали — по 85 рублей за сажень дров. Такую цену назначили помещики. И налоговые сборщики забирали в уплату этой суммы все, вплоть до одежды. Покончив с деревнями, пришли к нам в местечко. Помощник коменданта явился вместе с солдатами к моему дому, требуя, чтобы я выдал им Рабиновича, Розенгауза и Гантмана, так как при большевиках эти трое состояли членами комитета и брали лес на топку для местечка. То есть против нас троих было два обвинения: членство в комитете и ответственность за лес. Я с недоумением обратился к немцам: "У нас местечко тихое, зачем понадобилось приходить с солдатами? Если у вас есть ко мне какое-то дело, зайдемте ко мне в дом и там поговорим". Помощник коменданта прошел в дом, где я сказал ему: "Рабинович — это я. Но, к сожалению, я не большевик. Может быть, это и большая честь быть им, но я к ним не имею никакого отношения. Что же до дров, то надо достать счет, по которому в соответствии с указанием начальства выходит, что мы должны платить 17 руб. 20 коп. за сажень. По 5 рублей мы за лес платили, когда брали его, значит за нами доплата по 12 руб. 20 коп. за сажень. Затем, — продолжал я, — нас нельзя винить в том, что мы брали лес: ведь купить его было негде. К тому же, мы брали только дрова на топку, тогда как мужики брали строительный лес и рубили такие деревья, которые нельзя было сводить. Мы не срубили ни одного дерева на бревна". (Были у нас желающие рубить и на бревна: дешево и хорошо, почему же не взять, если можно? Но я, обратившись тогда ко всем в синагоге, стал от этого отговаривать. Меня не хотели слушать. Я, однако, так продолжал настаивать, что из синагоги почти все ушли, не дослушав меня. Но все-таки мои слова, по-видимому, подействовали, потому что на бревна лес никто рубить не стал.) Помощник коменданта, однако, сказал о цене

в 85 рублей, — то есть то, что установили помещики. Я возразил, сказав, что это цена строительного леса. После долгих переговоров я обещал, что соберу деньги и принесу их помещику. Но тот такую небольшую сумму брать отказался. Деньги лежали у меня до тех пор, пока опять не пришли большевики. И тогда я перевел их в общественную кассу.

При немцах возникла проблема религиозная. В Су-кот не могли достать этрог. Но немцы снабдили еврейские общины этрогами — по одному на общину, и я тоже получил в Минске этрог для нашего местечка — сначала бесплатно, но потом немцы прислали счет, который я оплатил.

Немцы строили свои отношения с населением по принципу общественной ответственности: если что-либо случалось, отвечала за это община в целом. Однажды около местечка был оборван телефонный провод. С местечка потребовали штраф. Я убедил немцев, что виноваты не жители местечка, а деревенские, и поэтому не мы должны платить штраф.

Дважды в неделю немецкие солдаты ходили по домам и собирали яйца. По установленному порядку они должны были брать яйца только там, где были куры, и платить. Но в военное время с солдатами никто не спорит, и они отбирали яйца повсюду и, конечно, не платили. Так оно и продолжалось, пока они однажды не явились в дом, где яиц не было. Немцы этому не поверили и стали угрожать хозяевам. Позвали меня, и я заявил солдатам, чтобы они уходили и не приходили больше, так как мы все равно теперь ничего не станем давать. На этом дело не кончилось.

При большевиках плата землевладельцам за пастбище и за аренду земли под строения была отменена. Помещица, которой прежде платили, привела теперь немецкого коменданта с солдатами, но не нашего, а из другой волости, и хотела заставить нас снова платить ей. Я объяснил коменданту, что мы подчиняемся не ему, а другому. Помещица послала тогда своего управляющего к нашему. А я ему стал говорить, что мы не

возражаем против платы, но по старым нормам, и не согласны платить, сколько требует помещица, а вообще мы не должны платить, так как большевики плату отменили, а они были властью и т. д. Все это тянулось до тех пор, пока снова не пришли большевики.

Когда большевики сменили немцев, меня опять выбрали представителем местечка и в волость и в уезд. Я хотел этого избежать и три недели нигде не являлся, пока мне не пригрозили судом за саботаж и контрреволюцию. Пришлось поехать в волость, где я продолжал быть председателем продотдела. На сей раз все было много труднее, чем прежде. Товарищи, с которыми я работал, были мне не по душе, и хотя нам приходилось обсуждать все дела совместно, я чувствовал, что от них веяло духом большевистского разрушения. Терпеть это было тяжело, но приходилось, так как я хотел и дальше защищать интересы местечка, в том числе и национальные. Повсюду было много комиссаров-евреев, заботившихся сразу обо всем и обо всех, меня же они обвиняли в том, что я думаю только о своем местечке и о евреях, и в том, что я противник большевиков. Мое положение то и дело становилось опасным, потому что недовольные готовы были выдумать обо мне все, что им было угодно. Однажды сказали, что я перевез немцам 25.000 пудов картошки, другой раз, что посылал им золото, посылал продовольствие, — ведь евреев подозревали всегда. Отвечать на это было бессмысленно. Например, картошка: сколько же нужно было достать подвод и людей, чтобы тайно ее переслать? Ведь это не иголка, которую можно спрятать в лацкане! И довольно было подумать над этой глупостью, чтобы снять с меня подобные подозрения...

В волости я работал полгода, — три месяца председателем продотдела и три председателем волости и начальником военного отдела. Трудно перечислить все опасности, которым я подвергался из-за того, что защищал интересы выбравших меня. Однажды был съезд всего округа, съехались мужики из всех

деревень, и только из местечка не было никого, так как надеялись на меня. Съезд был во дворе одного из имений. Говорили о трудном положении, многие высказывали недовольство большевиками, и многие говорили против евреев: они-де первые оскверняют святыни, всюду они лезут вперед. Все это — еврейская власть, а нужен был бы только погром... Конечно, "приятно" было мне слушать, что вещали эти распутники и бездельники. Я встал, вышел на трибуну. Мне стали кричать: "Жид, сойди!" Председатель призывал их к порядку. И я сказал: "Мои слова — не к тем, кто кричит мне "сойди!". И не к тем, кто не видят, где ложь и где правда. Мои слова — к христианам, у которых есть хоть сколько-то порядочности и мудрости, кто верят, что Христос призывал к любви и братству. Это Иисус сказал, что не будет иудея и эллина, а будут только люди"

Меня слушали молча, и я перешел к сути дела...

Председателем волисполкома и начальником военного отдела до меня был Бегун, а потом Бойтка, левый эсер. Он был человеком влиятельным, энергичным, служил офицером в Петербурге, участвовал во взятии правительственной крепости. Но так как он был эсером и против большевиков, относились к нему с недоверием. Несколько раз пытались его арестовать, но в волости не давали этого сделать. Однажды уже был отдан по телефону приказ о его аресте, но этого удалось избежать. Потом ему обещали, что его не тронут, он пришел на собрание, и там опять сделали попытку арестовать его, но собрание встало на защиту Бойтки. Однако это же собрание избрало председателем меня, и следовательно, я должен был теперь произвести его арест. Он смог договориться как-то с охранниками и исчез.

Я стал предволисполкома и предвоенкома, а Бегун — председателем продотдела. Был случай, что явились конфисковать в пользу армии зерно, имевшееся на нашем складе в имении. Я был в это время в уезде, а Бегун не хотел давать разрешение без меня. Он по-

требовал от армейских предписание. Те сняли винтовки и заявили, что он арестован. Был скандал и переполох, но их командир все же поехал за предписанием. Когда он вернулся, я уже был на месте и соглашался дать зерно. Однако в отсутствие командира Бегун успел вызвать милицию, которой было приказано разоружить оставшихся без командира солдат. Вернувшийся командир, узнав об этом, просил вызвать уже целый отряд с пулеметом для борьбы с контрреволюцией. Я спешно дал телеграмму председателю Якимовичу (вероятно, в уезд.— Ф. Р.), и дело было остановлено.

Повсюду в уезде помещиков арестовывали как буржуев. У меня они все оставались на свободе. Как-то я узнал, что ищут Трущинского, зятя Щитинского, чтобы арестовать его. Я знал, где он находится, и послал предупредить, чтобы он оттуда ушел. Помещики у меня не только чувствовали себя спокойно, но получали и паек, на выдачу которого комитет согласился с трудом.

Через волостной центр однажды провозили нескольких арестованных женщин — мать с дочерьми и их детьми семи и десяти лет, и еще одну молодую женщину, дочь помещика, приехавшую повидать родные места и работников своего имения. Работники и арестовали ее, сказав, что у нее нет разрешения находиться там. С женщинами был и бывший управляющий имением, и вот всех этих арестованных и привели ко мне, чтобы я направил их дальше. Стояли холода, и эти люди, особенно дети, были неприспособлены ехать в тяжелых условиях под охраной. Я предоставил им большую комнату, велел приготовить чаю и вообще относиться к ним по-хорошему. И на дальнейший их путь я смог устроить им человеческие условия. Они не знали, как благодарить меня... А спустя некоторое время, когда я сам был арестован большевиками, то, попав в заключение в уездном городе, оказался вместе с тем же управляющим. Он оплатил мне услугой: предоставил мне свое место для спанья — на столе.

При власти большевиков появилась особая проблема, касавшаяся установления величины налогов. На буржуазию были наложены высокие налоги, а какие были у нас буржуи? — торговцы и купцы, и все — евреи. И всех их арестовали, стали мучить и требовать огромных сумм налога. Если не мог платить — расстреливали. Дошло это и до нас. Следовало выбрать комиссию, которая поехала бы в уезд и там установила величину налога. Состоятельных людей в комиссию не выбирали по двум причинам: подозревали, что они все сделают себе на пользу, а к тому же "буржуев" выбирать запрещалось. На собрании мужики волости стремились переложить все на евреев, полдесятка лавочников, тогда как мужиков с большими хозяйствами обходили. Я не дал довести это собрание до конца. Дело с налогами отложили, а потом я распределил контрибуцию по своему разумению. И когда какой-то крестьянин явился с жалобой, почему он так много платит, я ему сказал, что ты эти деньги можешь получить, продав курицу и несколько яиц, и потому не нужно из-за этого слишком переживать, мир и спокойствие важнее.

Во время одного большого съезда, где собрались рабочие и посланцы от сельских жителей, я был делегатом от нашей волости. Там оказался Бойтка, выступавший от своей фракции левых эсеров. Он был на примете у большевиков, но, ничего не боясь, Бойтка гнул свою линию и заявил, что созывает другой съезд. В пылу спора он сказал, что диктатура большевиков является обманом и ложью. В конце концов его решили удалить с собрания. А когда он вышел, военный комиссар арестовал его. Комиссаром этим был молодой парень Иван Прожан, работавший у нас в местечке кузнецом и имевший репутацию большого вора. В царское время он всегда был на заметке в полиции. Я стоял в коридоре и, увидев, что ведут Бойтку, спросил у Ивана, в чем дело? Тот ответил: "Я знаю, в чем!" Они прошли, а через несколько минут ко мне подо-

шел один из коммунистов и спросил у меня партийный билет. Я ответил, что я беспартийный. "Как же ты оказался здесь?" — "Посмотри в списках, я записан там от радикал-социалистов ("Поалей-Цион")". — "Пойдем со мной", — сказал он. Так я был арестован и препровожден в ЧК. Но так как прокурором был мой знакомый — студент Шульман, то просидел только 17 часов. Освободившись, я навел справки о Бойтке и его товарищах. Под мое поручительство их выпустили до суда.

... Однажды в субботу привели ко мне в волисполком двух еврейских ребят двенадцати и шестнадцати лет. Они были сильно избиты. Тащившие их мужики кричали, что их не следует оставлять здесь, потому что еврей для евреев все сделает, встанет на их сторону. Оказалось, что это городские ребята. Вина их заключалась в том, что они украли буханку хлеба. Они приехали по железной дороге из Минска. С собой у них было немного соли, мыла и спичек, которые они хотели обменять на продукты для своей семьи. Весь день они ходили по деревне от дома к дому и, плача, просили, чтобы у них купили что-нибудь. На них никто не обращал внимания. Вечером, когда голодные, уже возвращаясь, дети вошли в один из домов, они увидели там много хлеба и взяли буханку. Спohватившись, хозяин-мужик поймал их, собрались соседи, и ребят избили до крови. Устав избивать, толпа повела их ко мне как воров и бродяг. У меня собралась вся деревня, включая и детей. И вот стоят они и смеются: "Ага, евреи тоже воруют, вот мы вам их поймали!" Отпускают шуточки и выкрикивают: "Спекулянты, воры!" Так продолжалось, пока терпение мое не лопнуло. Я прогнал детей и обратился к взрослым. Попытался сказать им, что взять немного хлеба — это не значит совершать преступление. Но все продолжали кричать: "Воры! Воры! Их надо арестовать и отослать в уезд!" Я вспыхнул. "Ну-ка, товари-

щи, — спросил я, — а есть среди вас хоть один, кто ни разу в жизни не воровал?!” И стал обращаться к каждому: “Ты? Ты? Или ты? Что тут произошло? Голодные дети, они даже в субботу поехали, чтобы добыть немного еды для семьи, и никто из вас не купил у них ничего! Вы не только не купили, не только им не помогли, вы избили, изранили их без всякого милосердия! Кто же из вас хуже? Вы или они?” Люди стали утихать. И я спросил мужика, у которого украли хлеб: “Что ты хочешь за это?” Он сказал, что возьмет 25 царских рублей серебром. Я страшно разозлился и ответил: “Попросил бы ты для монастыря или для Красного Креста, я, может быть, и дал бы! Как тебе не стыдно!” В разговор вступили крестьяне-старики. И наконец он согласился взять несколько кусков мыла и даже дал еще хлеба и картошки для ребят. Я дал им яиц, напоил чаем. Они поели и переночевали у меня и утренним поездом уехали домой в Минск.

В Крилищевичах жил старый помещик по фамилии Трущинский, очень образованный человек, который еще в 1905 году хотел разделить свое имение между крестьянами и работать наравне с ними. Во время Февральской революции он заявил, что делит свою землю, леса и фабрику между работниками с условием, что на старости лет у него будет тоже какое-то занятие, с которого он мог бы жить. При большевиках к нему явились из губчека и увидели, что новых перемен у него нет: работники его работают, он живет в согласии с ними, они снимают с земли урожай, излишки хлеба посылают в губернию. ЧК все это не понравилось, они стали требовать с него наличные деньги. Случайно я пришел в его дом, когда там шел обыск. Все было разорено. Я пошел к деревенским и сказал старикам: “Если вы старика уважаете, то не должны допустить несправедливости!” Собралась вся деревня, и потребовали, чтобы Трущинского освободили и оставили ему его деньги. У ЧК не было выхода. Сперва они освободили старика, но все продолжали настаивать,

чтобы вернули ему отобранные деньги. Когда стали их возвращать, оказалось, что чекисты забрали денег много больше, чем написали в расписке. Мужики разгневались, подняли крик, и люди из ЧК сбежали...

Тогда всюду было много мешочников, ездивших из города за продуктами, например, за мукой. Но это расценивалось как частная торговля, которая была запрещена. У меня же в волости она велась почти свободно. Сотни людей, бывало, приходили к нам и торговали. И хотя и цены поднимались, эта торговля шла на пользу всем, так как хлеба в городе не было. В местечке этой торговлей жили, меняли товары, носили их по деревням, торговали и зерном. Занятие было небезопасным, потому что любой чиновник — большевик мог устроить обыск и все конфисковать. Когда после таких случаев мне приносили конфискованное добро, я задешево покупал его и раздавал беднякам. Если же крестьяне ловили мешочников и вели их ко мне, я налагал на них нестрогий штраф, а крестьянам внушал, что, во-первых, они не имеют права арестовывать, а во-вторых, без мешочников у деревенских не будет всего того, что уже исчезло в лавках, — ни табака, ни спичек, ни соли. Все эти товары шли только на обмен, и если мешочники их не привезут, станет только хуже.

Как-то приехал ко мне в волость председатель комиссариата и увидел, что в моем кабинете висит икона Божьей Матери. Он набросился на меня: "Что это у тебя такое? Прикажешь снимать шапку и креститься?" На это я сказал, что икона оставлена потому, что крестьяне не дадут ее снимать, уже был в губернии случай, когда какой-то еврей стал снимать иконы, и вышел крупный скандал. А я этого не хочу. Тогда комиссар придвинул к стене стол, влез на него и начал снимать икону с гвоздя. Тут я стал говорить, что эта икона — произведение древнего искусства, и лучше было бы отдать ее в какой-нибудь музей или в церковь. Он согласился, чтобы я позвал крестьян и отдал им икону. А когда комиссар уехал, я послал за священником, и

он унес ее в церковь. Позже, когда пришли поляки и стали расспрашивать, что за человек Рабинович, мужики сказали, что Рабинович прекрасный человек: "Он спас нашего Бога." Поляков, искавших большевиков, это несколько охладило.

Кто-то из комиссаров, проходя мимо мельницы, обнаружил там муку и зерно. Армия уже ощущала недостаток зерна, и был издан приказ отбирать хлеб у населения. Комиссар велел, чтобы мельник не отдавал муку владельцам и ждал, пока не придут люди забрать ее. На мельнице был оставлен охранник. В военном отделе губернии (уезда? — Ф. Р.) комиссар заявил, что нашел 500 пудов муки. Через сутки среди ночи кто-то успел часть ее стащить. А днем владельцы муки нашли какого-то человека, имевшего разрешение на продажу хлеба. И вот эти люди явились ко мне просить разрешения забрать свою муку, пока ее не увезли военные. Мука эта предназначалась для собственного потребления, а не для спекуляции, и владельцы были бедными мужиками, которым мука стоила много денег. А власти платили за нее лишь десятую долю ее стоимости... И я распорядился, чтобы помощник дал указание вернуть муку. Разумеется, охранник получил мзду за то, чтобы он потом сказал, что муку забрали по предъявленному ему распоряжению, были у мужиков и еще кое-какие траты. Я чувствовал, что они и мне хотели дать долю вознаграждения, но, понятно, я ничего не взял у них. (Однажды на собрании в местечке обо мне сказали: "Кто ж ему виноват, если он не хочет разбогатеть?")

Потом, когда губерния послала за мукой и ее не оказалось, началось следствие, и меня хотели поставить к стенке. Специально присланный комиссар расследовал дело, и когда оно кончилось (благополучно. — Ф. Р.), я спросил: "Теперь ты удовлетворен?" Услышав этот вопрос, он отступил от меня на шаг, показал на свой револьвер и сказал: "Только это помогает мне удерживать власть!"

Я никак не мог освободиться от своих обязанностей. Я настаивал в местечке, чтобы меня не выбрали в волость, зная, что если не выберут в местечке, то и в волости не дадут мне мою должность. С меня довольно, говорил я, даже если выберете, я не буду о вас заботиться, наоборот, буду делать все только хуже. Вы не считаетесь со мной и с моей семьей, — ну и я с вами тоже не буду. В волости не верили, что я хочу освободиться от должности, считали, что я говорю это нарочно, не желая служить большевикам.

Все же я ушел, но возник вопрос, кому передать мою должность. Я хотел, чтобы это был стоящий человек, и предложил назначить моего помощника по фамилии Простак. Он был малообразован, лишь немного умел читать и писать, но был прямодушен и относился к евреям без предубеждения, а к большевикам без любви. Он пришел ко мне за советом, что ему делать. Я сказал: если ты хочешь, чтобы у нас был порядок, если ты патриот и любишь крестьян и заботишься о них, если тебе будет жаль, что у нас все пропадет, то ты должен согласиться. Он заплакал и решил согласиться, несмотря на страх. Я обещал ему, что от случая к случаю буду бывать у него и буду помогать советами.

Несколько раз меня выбирали в суд. Был я судьей и при Керенском, и при большевиках. Хочу рассказать здесь о деле мадам Идельчик против бедного портного, которого она обвиняла в краже большой суммы денег. Портной этот, не имея своей мастерской, работал на дому у заказчиков. Но в домах крестьян он не мог совершать молитву, так как там были иконы. Поэтому он ходил для молитвы в дом Идельчик. Однажды она положила под подушку деньги, и они исчезли. В дом входил только этот бедный портной, и подозрение пало на него. Его схватили, избили и привели ко мне. Сообщили о случившемся его жене. Она собрала пропавшую сумму, и под этот залог портного выпустили до суда. Он вины не признавал, но Идельчик требовала деньги с него. В ЧК у нее были знакомые. На суд пришли подставные свидетели, и его осудили как вора. Я спросил

портного, хочет ли он обжаловать приговор, и так как ответ был утвердительный, то деньги Идельчик я не отдал, сказав, что надо ждать до нового суда. Тем временем большевики ушли, пришли поляки, а деньги остались в кассе большевиков. Когда поляки меня арестовали, сын Идельчик оговаривал меня, говоря при этом, что будет рад, если меня изобьют. Но потом сам он был схвачен вместе с одним из поляков и обвинен в соучастии в воровстве.

При большевиках члены профсоюзов имели большие права. Поэтому в местечке устроили союз, в который вступили все ремесленники. Записались самые разные люди, даже такие, кто никогда не работали. Узнав, что у нас есть профсоюз, из центра прислали сразу же агитатора, который агитировал за коммунизм. Я особо много агитировать ему не давал, хотя такое мое поведение было опасным. Были в местечке и такие, кто льстили большевикам, ища их расположения. Услыхав однажды, что в местечко едет известный большевик-агитатор, я специально вернулся домой из уезда, чтобы послушать его. После долгих споров и дискуссий на собрании остались только мои друзья, и, к огорчению агитатора, дело кончилось пением "Ха-Тиква". Потом он рассказал мне, что только материальная необходимость заставила его работать на большевиков.

Я много агитировал за переезд в Эрец-Исраэль, но моему влиянию не поддавались. Оставшись в одиночестве, я объявил, что оставляю все, даже семью, и поеду в Эрец в качестве халуца. Услышала об этом жена, и началась большая война в моем доме. Жена знала, что я выполню то, о чем говорю. Просьбами, уговорами и через друзей пыталась она воздействовать на меня.

Однажды приехал из Америки посланец, привезший для местечка деньги. Ему также было поручено повидаться со мной. Он приехал ко мне в Минск, где я был тогда из-за поляков, которых остерегался. Жена была

со мной вместе. Он давал мне деньги, чтобы я уехал в Америку. Я отказался.

Еще несколько друзей сказали мне, что хотят покинуть эту кровавую родину. Мы выбрали комитет и начали работу в организации "Хе-халуц", где обсуждали вопросы алии. Хотели к нам записаться многие, но мы не были уверены, что все они поедут в Палестину и будут способны вынести в новой стране все, что ни случится. Когда я поехал, то со мной было еще 9 человек, но желавших ехать с нами было больше.

...Никогда не забуду страшную ночь, когда большевики покинули местечко и в него вступили поляки. Это был не страх, а внезапное чувство близкой смерти. Передовые части поляков прошли через местечко, оставив гарнизон и тех, кто должен был строить оборонительные линии. Эти солдаты не считались ни с какими запретами: они могли беспрепятственно жечь, грабить и убивать. Что им скажешь, если пули летят со всех сторон и не знаешь, кто стреляет, и любого могут обвинить в сопротивлении?.. Жители местечка заперлись в домах из-за боязни и из-за нежелания оказаться свидетелями беззаконий. И когда отступающие идут через селения, босые, голодные, оборванные, и их подгоняют, они везде, где есть люди, ищут, чем поживиться, не слушая приказаний тех, кто гонят их дальше, они ломают окна и двери, стараясь унести с собой все, что им хочется...

Под утро раздались дикие крики, стрельба, треск взломанных дверей, свистки и удары. Ничего невозможно поделать. Слышны крики о помощи: "Ратуйте!" — но страх смерти не дает людям выйти из домов. Никто не снимал с себя этой ночью одежд, каждый был готов к самым худшим неожиданностям. Внезапно наша дверь, закрытая на две железных перекладины, распахнулась, и дом наполнился вооруженными солдатами. Проснулись дети и стали плакать. Я зажег свет. Увидав, что это не лавка, солдаты пораскрывали шкафы, отовсюду похватывали то, что попало им под руку, и ушли. Второпях оставили у нас хлеб и сметану, кото-

рые взяли, как видно, где-то еще. Доносившиеся снаружи крики не прекращались и не давали покоя, но жена решительно не выпускала меня из дому, говоря, что не даст мне уйти, даже если бы и нуждался в помощи ее отец.

Рано утром, выйдя на улицу, увидали мы картину разрушения. Не было дома, который бы не ограбили. Всюду царил разгром. Несколько домов поджигали, но в спешке не успели довести дело до конца.

Наступили дни страха и ужаса. Я и еще несколько человек дежурили все время на улице, рискуя стать жертвами насилия.

Всегда я был во главе всех дел, а во время революции тем более, но поляков остерегался. Было известно, что по любому поводу, еще ни в чем не разбираясь, они секут плетьюми, особенно если им попадался еврей. Я уже писал об иконе Богоматери, которая на первый случай спасла меня от поляков. Они тогда только дали приказ полиции следить за мной. Так как отзывы обо мне были только хорошие, я спокойно сидел в местечке и даже не исполнял обязанности старосты, поручая все дела своему помощнику Окуню.

На второй день Рош-ха-Шана 1919 года пришел польский жандарм и спросил старосту. Я повел его к соседнему со мной дому Окуня. Жандарм поинтересовался, не Рабинович ли я. Я ответил "да", он попросился войти в дом (лошадь его была на улице). Войдя, он вынул револьвер и принялся поносить меня и всех евреев. "Вы притесняли наших священников, но теперь то мы вам отомстим!" — кричал он. Вынул из кармана какую-то бумагу и спрашивает: "Твое это?" Я прочитал написанное там и сказал, что, когда я был предволсполкома, такие распоряжения писались не только для одних священников, а для раввинов тоже. Им предлагалось следовать установленным законам — так же, как это требовали с меня. А кроме того, этот приказ никого не унижает. Например: "Предлагается Его чести не выполнять никаких религиозных обрядов без разрешения властей, что соответствует указу

номер такой-то... В противном случае Его честь будет отвечать на основе закона, параграф такой-то..." И потом, нечего на меня кричать. Есть комендант, и он может убедиться, что за мной нет никакой вины. Я готов добровольно идти к коменданту. "Хорошо, — сказал он, — комендант недалеко, в имении, пойдем к нему!"

Он обманул меня: я оделся и вышел, а он стал конвоировать меня с пистолетом в руках.

Меж тем, в местечке заволновались, и все уважаемые жители пошли за мной в имение. Там жандарм потребовал подводу, чтобы ехать со мной в Руденск за 12 верст. Стали его уговаривать, чтобы он оставил меня на субботу дома под гарантии, и обратились к помещице, чтобы она за меня заступилась. Но она отказалась. Я спросил, помнит ли она то, что я делал для нее при большевиках? Что ее не трогали, тогда как в других местах помещиков арестовывали, что в ее лесах не побывал никто из евреев, и никто из нас не рубил ее деревья? Она же ответила, что сама видела меня в ее лесу и что это я дал крестьянам разрешение рубить ее лес. Эта ложь возмутила меня, тем более, что я даже не знал, где именно ее часть леса. Я стукнул кулаком по столу и бросил ей: "Думаете, что некому опровергнуть эту ложь и отплатить вам за мое оскорбление?!" Старики продолжали ее умолять, она же отвечала, что никого здесь не знает. На самом же деле она тут выросла и все время покупала в нашей лавке в кредит.

Делать нечего, поехал с жандармом. По дороге спрашиваю: "Говорят, у вас первым делом дают 25 плетей, что, без этого не бывает?" Он сказал: "О тебе уже знают в Руденске. Поведут сразу к коменданту. Поговоришь с ним, договоришься".

В Руденске уже были все мои друзья и знакомые. Они стерегли меня, пока не явился комендант и меня не сдали под арест. Стали говорить о моей вине. Комендант оценил мою душу в 15.000 рублей. Он знает, что мой тесть богатый и может за меня заплатить. Еще, добавляет он, уж если ты работал у большевиков и не разбогател, то следует теперь тебе тем более потерпеть

убытки, коли ты был таким дураком. После многих уговоров, после просьб жены, молившей пожалеть ее и маленьких детей, заплатили за меня 3.000 рублей, и после 27 часов ареста я был освобожден.

(Ниже Ш.Д. комментирует происшедшее. — Ф.Р.)

Были люди, которые из боязни наговаривали на других. Меня несколько раз предупреждали об угрозе ареста. В таких случаях я уходил из местечка, а в местечке делали обыски, во время которых крали, грабили, били. Во время такого обыска у меня украли бинокль и машинку для стрижки.

Когда меня освободили, стало известно, что все это было дело рук самозванцев, которые лишь хотели поживиться. Они действовали без разрешения властей.

Помещица умерла через несколько дней. Оговоривший меня человек был пойман вскоре на воровстве, его арестовали и осудили.

Узнав о моем аресте, за меня стали просить все окрестные крестьяне. Жена ходила к священнику просить его заступиться за меня. Но тот сказал, что он, его бы воля, подольше бы держал меня в тюрьме: он был зол на меня и был, судя по всему, антисемитом. В скором времени его отставили от должности.

Напротив, священник из Пережеры, начальник полиции (бывший? — Ф.Р.) и все уважаемые люди волости, думая, что их просьбы не дошли до коменданта, дважды подписали прошение обо мне и посылали в уезд специального человека.

А наш раввин лишился всякого уважения из-за того, что, когда подписывали бумагу в мою защиту, он свою подпись дать отказался, сославшись на запрет субботы. Ему же говорили, что для спасения человека, наоборот, нельзя не подписать.

Два седобородых старца повезли прошение, нарушив ради этого субботу. Когда я увидел их и понял, на какой поступок они пошли ради меня, слезы выступили у меня на глазах. И прямо там, сидя еще под арестом, я написал об этом стихотворение "Моя слеза"

(на идиш — Ф. Р.). Посвятил я его Ривке Екельчик, которая приносила мне в мое заключение еду.

Позже, когда власть поляков "упорядочилась", я вернулся к общественным делам и многое устраивал вместе с тем самым комендантом. Он говорил, что уже насытился деньгами, пусть лучше несут ему вещи... И я доставал для него то, что ему было нужно. Как-то он помог в одном общественном деле политического характера, я хотел ему дать крупную сумму, но он не взял. Тогда я поехал в город, купил красивое зимнее пальто и надел на него.

Вообще-то, жизнь была тяжелой. Каждый шаг еврея был на виду, и нельзя было давать и повода для придинок. Как-то у жителя местечка Фройкина нашли соль. Продажа соли была запрещена, и его уже готовы были забрать в уезд, — а оттуда люди не возвращались. Я поехал к коменданту, чтобы он дал записку для солдат не трогать Фройкина с его солью. Он написал ее. Но я знал, с кем имею дело, и хотел прочесть записку на месте, он, однако, не позволял. Я настаивал на своем, в результате он дал другую записку, где и было написано, чтобы человека не трогали. Дело же заключалось в том, что наш комендант, когда его коллега — комендант соседней волости хотел реквизировать у нас быка, дал тому записку по этому поводу, якобы с разрешением. Но уже забирая быка, комендант соседей развернул перед нами записку, и в ней оказалась фраза: "Отдать быка в случае оплаты его стоимости". Так наш комендант обманул приятеля, и тот уехал в досаде.

Поляки не ограничивались обысками, грабежами и убийствами. Все время они придумывали что-то новое. Появились у них карательные отряды, которые шли по округе и делали, что хотели, вплоть до разрушения домов. В местечке Друкоры они наложили огромную контрибуцию, и ее пришлось уплатить. Убивали людей, арестовывали и отправляли неизвестно куда, опустошали деревни, разоряли и грабили все, и ничто не могло их остановить, и некому было жаловаться.

Прошел и у нас слух, что они приближаются. Многие убежали, особенно молодежь, страдавшая от насилий больше других. Я остался, чувствуя моральную обязанность защищать своих, сколько можно, — говорить, убеждать, давать деньги, лишь бы избежать несчастий.

Но в тот раз они не явились. И несколько недель прошло спокойно. А потом все опять началось заново: карательный отряд приближался, и на этот раз слух дошел и до моей жены. Она видела, что люди в страхе покидают местечко, и пришла вместе с дочерью (Юдит, 13 лет, моя будущая мать. — Ф. Р.) ко мне в контору, убеждая, чтобы и я ушел и не подвергал себя опасности. Жена и дочь только что перенесли тиф. Я не мог спорить с женой, которая была еще очень слаба, и согласился. Вышел на улицу. Узнал, что раввин уже уехал. Кто-то ехал мимо на телеге, я спросил — куда? Тот предложил сесть к нему, — он ехал в Самохваловичи, я тоже собирался отправиться туда. Жена приготовила еды и перед отъездом моим пообещала, что если Бог поможет мне и я вернусь благополучно, она согласится, чтобы я поехал в Эрец. Поскольку однажды она это уже обещала, — когда я в Минске заболел тифом сам, — теперь жена сказала, что слово сдержит.

Так я оставил местечко. В субботу появились разведчики, а к *моцаэй-шаббат* прибыл и отряд. Местечко окружили. Было холодно, шел сильный дождь. Мужчин собрали на площади у пожарной каланчи, отделили стариков и детей до 15 лет. Солдаты пошли по домам, разыскивая якобы мужчин, оружие, военное обмундирование, хватая меж тем, что только можно. У нас забрали белье и разные понравившиеся солдатам вещи. Потом, когда женщины начали жаловаться командирам, кое-что стали возвращать. И моей жене сказали, что если она свои вещи опознает, ей их вернут. Но тут стали спрашивать, нет ли среди мужчин Рабиновича, и она умолкла. Спрашивали Юдла Рабиновича. Этот Юдл был из другого местечка, однако они думали, что так зовут меня, и искали этого Юдла здесь. Так как меня не было, на местечко наложили контри-

буцию в 150.000 серебром в царских рублях. И предупредили, что, если через три дня сумма не будет выплачена, местечко разрушат, уведут скот, разорят все. Было хорошо известно, что они свои угрозы выполняют, особенно когда дело касается евреев.

Отряд уехал. В местечке — крик, плач, споры, обсуждения. О случившемся сообщили мне. Я хотел сдать польским властям, но мне не дали этого сделать, и из-за того, помимо прочего, что поляки секут, кого ловят, еще до суда. Я отправился в Минск, выжидая, пока пройдет гроза. Из местечка, меж тем, послали извещение о происшедшем в Центральную Белорусскую раду. Как раз в это время в Минске находилась группа американцев от организации международной помощи, которые наблюдали за поведением поляков. После многих обращений и проверок поляки отказались от требования контрибуции, сообщили мне, что я могу вернуться и не бояться ничего, так как они убедились, что я уважаемый человек. Но мне надо было явиться, как положено, к польским властям.

Перед тем как уйти из волости, карательный отряд расстрелял 20 человек. А жители Друкор рыли могилы и хоронили их. Многие были избиты до потери сознания. Все эти события повлияли на подготовку группы халуцев, отправлявшихся в Эрец. Уже оформлялись удостоверения, но обо мне боялись напоминать, чтобы не выдавать, где я прячусь. Не желая из-за себя ставить других в трудное положение, я решил все же поехать домой и сам оформить документы.

Все прошло так, будто ничего не случилось: я с комендантом в прежней дружбе, полиция относится ко мне с полным уважением, все мои просьбы выполняются, и бояться было нечего. Комендант уговаривает никуда не ехать и не оставлять местечко, обещает, что никакого зла мне не причинят.

Я узнал, что в Минске за меня опять ходатайствовал и новый священник, назначенный на место умершего. Он подписал ходатайство, даже не зная меня, сказав: если все люди подписывают, значит это хороший че-

ловек. Когда я пришел благодарить его и прощаться, он тоже стал говорить, что мне не стоит ехать в Палестину. Он уверял, что сионизм — это идея абстрактная, и она не превратится в реальность.

И разные люди — гои, крестьяне и более высоких сословий, приходили ко мне и уговаривали меня не уезжать.

По дороге в комендатуру, куда я ехал прощаться, провезли четырех евреев — Рубинчика и Гебелева с сыновьями — с их подводами, нагруженными стеклянным товаром. Они нарушили запрет ездить по деревням и торговать. У них уже все снимали с телег, а когда уж поляки что брали, то не отдавали. Я принялся уговаривать, требовать и просить, пока не добился, что их отпустили.

Получил свои документы и спросил у коменданта, чем я могу отблагодарить его. Он ответил: "От тебя мне ничего не надо, кроме искренней дружбы. Но если хочешь, чтобы мне что-то дали, напиши об этом своим в местечко". Я так и сделал, и уверен, что мои друзья для него постарались.

За три дня до отъезда я получил на свое имя перевод из Америки на сумму в 42.500 рублей, и столько же пришло на имя раввина, — с тем, чтобы эти средства были распределены в местечке. Я уже не успел заняться этим, но в *моцаэй-шаббат* выступил в синагоге и высказал свои предложения о том, как лучше эти деньги распределить. Пожелал я местечку всего доброго и поблагодарил всех. В синагоге было объявлено, что в школе устраивается прощальный вечер и что всю общину просят придти.

Пришли все от мала до велика, и никто не устроился. Раввин, который был болен, прислал свое благословение. Начались речи, каждый вспоминал о моих делах, и мне было неловко слушать хвалы в свой адрес. Старики на полуслове умолкали и начинали плакать. Каждый говорил от всего сердца. Потом молодые начинали петь, пили немного вина и произносили благословения. Продолжались проводы до утра. Я побла-

годарил за честь, за ту дорогу, что прошли мы все вместе, и когда уже наступила заря, начались поцелуи и новые пожелания. Мы вышли на улицу, и меня подняли на плечи.

От школы до дома путь длинный, но мне не давали сойти на землю и до конца несли меня на руках.

Трудно пересказать все, что тогда говорилось. Предложили, чтобы жалованье, которое я получал за работу в кооперативной лавке, продолжали давать моей семье, пока она будет оставаться в местечке. Одна из женщин процитировала Тору: "Господь послал меня быть впереди всех". Один из мужчин упал в обморок. Плакала даже и молодежь.

В этот день — פ"ק תר"פ (июль 1920 г.), я покинул местечко.

Поехал в уезд и в губернию, где немного задержался из-за того, что управление перевели на новое место, и вот сел я в поезд, отправлявшийся из Минска в Польшу...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ВРЕМЕНА ОТЦОВ

Когда Шмуэль Давид уезжает в Палестину, моей матери Юдит исполняется 14 лет. Старшая из детей Шмуэля Давида и Эстер Рабинович, она с семилетнего возраста воспитывается не дома в Узлянах, а в Бобруйске, в семье своей бабушки Ханы Фейге. И поэтому для рассказа о детстве и ранней юности моей матери необходимо вернуться в Бобруйск, туда, где жил в молодости Шмуэль Давид, и на короткий срок вернуться назад, к 1913 году.

На пасху этого года в Узляны приехала к Шмуэлю Давиду одна из его сестер — двадцатилетняя Сара Рабинович. Она взяла свою маленькую племянницу Юдит и увезла в Бобруйск. Таково было семейное решение: отправить подростковую дочь в город, где можно учиться, где жизнь отлична от местечковой и где ребенок будет находиться в доме более обеспеченном: ведь в семье Шмуэля Давида родился уже четвертый ребенок, и прокормить детей было трудно.

Хотя соображения практического, материального толка безусловно повлияли на решение отослать Юдит в Бобруйск, все — и сама моя мать, и ее брат Ирмияху — считают, что главной тому причиной было желание отца дать детям образование. Он, волей судьбы оказавшийся среди косного, неподвижного мира, с ко-

торым у него шла непрекращающаяся война, не хотел, чтобы его дети оставались здесь, в местечке и делили участь всех тех, кто жили тут прежде, сто и сто пятьдесят лет назад, и тех, кто без больших перемен продолжали жить теперь. Его мечты об Эрец-Исраэль питались тем же стремлением: вырваться из этого мирка на простор, где можно было бы создать новый мир, в котором он, его дети и весь его народ жили бы в честности, справедливости и духовном величии... Но пока этот мир еще не существовал и пока отъезд в Палестину еще оставался мечтой, нужно было хотя бы подрастающую дочь вывести к чему-то более светлому, чем жизнь в местечке. И Юдит отправляют в Бобруйск.

Хана Фейга, мать Шмуэля Давида, полностью поддержала сына. По мнению Ирмияху, могло быть и так, что она сама предложила забрать внучку к себе. Мой дядя напоминает в связи с этим, что в семье его тетки — дедушки Ирмияху Рабиновича именно Хана Фейга была активным и, так сказать, прогрессивным началом. Ведь именно Хана Фейга, как в своем месте уже говорилось, была грамотна, получала корреспонденцию и играла немалую роль в делах мужа — "коллектора". Оба ее сына и все дочери получали светское образование. И это при том, что и этой семье, по сути дела, не с чего было жить. Муж Ханы Фейги, мой прадед Ирмияху, умер рано, в возрасте 48 лет, в 1906 году (год рождения моей матери). Оба сына — Шмуэль Давид и Шломо Хаим были уже женаты (вот коротко история женитьбы Шломо Хаима: он приехал в Узляны на свадьбу брата, познакомился с двоюродной сестрой невесты, и вскоре была отпразднована еще одна свадьба). У Ханы Фейги, помимо женившихся сыновей, было еще шесть юных дочерей, — самой старшей из них, Нехаме, исполнилось тогда лишь 17 лет. Около 1912 — 1913 года Нехаме — первая из семьи — уехала в Эрец-Исраэль. (Жизнь ее была полна событий. До 1926 года она жила в Палестине, выучившись на медсестру, работала в Ришон ле-Ционе. Потом уехала в Россию, где преподавала английский в Комуниверситете народов

Востока, вышла замуж за негра, уехала с ним в Штаты, вернулась со вторым мужем — евреем из семьи выходцев из России, во время войны попала в Ташкент, где жила до 60-х годов. Сейчас в Москве, и ей за 90 лет).

Вторая из сестер моего деда — Ривка, стала работать приказчицей (продавщицей) в мануфактурном магазине.

Третья, Сара, была очень способной, она училась, давала уроки, затем уехала в Киев, где тоже зарабатывала уроками и продолжала учиться, а позже поступила на Фребелевские педагогические курсы.

Сестра Песя, слабая здоровьем, не училась и не работала и жила у разных родственников.

Фаня работала в магазине колониальных товаров (позже училась, стала химиком).

Младшая — Мера — при помощи и поддержке Сары училась в прогимназии, а затем в казенной гимназии, которую окончила с золотой медалью.

Вот в это окружение молодых своих теток и попала приехавшая из Узлян Юдит. Ей было семь лет, а ее тетушке Мере — четырнадцать!.. Мера и взяла на себя "шефство" над маленькой племянницей.

Первые два года Юдит училась в *хедер-метукан* — то есть в "осовремененном", более светского стиля хедере. И учитель был "современный" — молодой, носил шляпу, а не ермолку. Учил он тоже по-новому. Например, на стол ставился горшок с сыром, прикрывался листом бумаги, а сверху помещалась ложка. "Аль ха-шулхан омед сыр, — говорил учитель, — аль ха-сыр — даф, аль ха-даф — каф." Дети громким хором продолжали: "Ба-ган — таф, таф, таф!.." ("В саду кап-кап-кап!") После первого года обучения был экзамен, на котором надо было отвечать, как называются на иврите те или иные предметы: "халон", "кир", "баит" (окно, стена, дом). Во втором классе учили Танах, и учитель был уже пожилым, в ермолке. По окончании второго класса тоже был экзамен, Юдит сдала его успешно и даже получила награду. Приехавший в Бобруйск отец был очень доволен.

К десяти годам Юдит стала учиться русскому языку. Роль учительницы взяла на себя Мера, которая была тогда в 4-м классе гимназии. Русская речь звучала в доме бабушки Ханы Фейги все время: юные сестры и приходившие к ним подруги говорили между собой по-русски. Постепенно Юдит стали готовить к поступлению в гимназию. Однако Шмуэль Давид хотел, чтобы дочь продолжала учиться и в хедере: он видел будущее своей семьи лишь в Эрец-Исраэль... В третьем классе хедера уже изучалась грамматика, читалась литература на иврите — Бялик, Черниховский, Шнеур.

В 1916 году десятилетняя Юдит поступила в Бобруйскую женскую частную еврейскую гимназию Лазаревой. (В упоминавшейся книге о Бобруйске имеются сведения об этой гимназии). Проучилась там Юдит два года, — то самое время, на которое пришлось революция и начало гражданской войны. Нормальная учеба была прервана, жить в городе становилось все труднее и труднее, и в 1918 году Юдит увозят домой, в Узляны, где она, стоит кстати добавить, проводила лето.

Она уже была большой девочкой и те полтора года, что прошли до отъезда отца, запомнила хорошо. Одно из воспоминаний — это песни, которые пел отец. Некоторые из них моя мать знает совсем с раннего возраста, например, колыбельные: их отец пел, сидя около своих малышей. Две из песен отца моя мать совсем недавно опубликовала в журнале клуба пенсионеров Рамат-Гана, предпослав им короткое пояснение. Одну из этих песен она где-то видела напечатанной со словами: "Посвящается моему сыну Израилю". Вот ее подстрочный перевод:

Спи, мой цветок, мой милый сын,
И пока я качаю твою колыбельку,
Буду тебе рассказывать сказки
О твоей будущей жизни.

Первое, о чем я расскажу тебе, мой дорогой,
Это о том, что ты еврей.
Твое имя – Израиль –
Подтвердит твое происхождение.
Не бойся брани "избранных" –
Скажи им
Про святое семя гонимого народа,
Несчастнее которого нет на свете.
Но в этом-то его гордость, –
Что он существует
И продолжает жить.

Петь мой дед любил, пел он обычно за субботним столом, после ужина, иногда подпевала ему и бабушка. Пелось много песен на идиш.

Уже известное из воспоминаний своего отца Юдит дополняет некоторыми любопытными подробностями. При том, что Шмуэль Давид ходил в синагогу и водил туда по субботам детей, обычно он не носил головного убора. В местечке не покрывали головы только наиболее радикальные молодые люди, а из "солидных" так ходил только мой дед. Когда в субботу после обеда он шел с молодежью в лес и оставался там до вечера, занимаясь со своим кружком, нередко случалось, что те бедные женщины, которых подкармливала дома его жена Эстер, начинали ей наговаривать на хозяина: он, мол, в лесу с молоденькими девушками. Маленький Ирмияху – ему было лет десять – как-то раз решительно встал на защиту отцовской чести и выгнал одну такую сплетницу из дому!..

Летом 1920 года, когда Шмуэль Давид уехал, будущее его семьи оказалось в полной неопределенности. На руках у Эстер осталось шестеро детей, из которых старшей дочери едва исполнилось четырнадцать, а младший сын был двухгодовалым малышом. Снова Сара, сестра Шмуэля Давида, приехала в Узляны, но на этот раз увезла с собой не только Юдит, но и двух ее братьев Ирмияху и Шаула. Сара в эти послереволюционные годы уже жила и работала в Москве. Член

Бунда, она вместе со своей партией влилась в партию большевиков (до конца своих дней она оставалась, сколько я помню, фанатически верующей большевичкой). Сара стала советским работником на довольно заметной должности члена коллегии Народного комиссариата просвещения. Привилегированное положение в Наркомпросе позволило ей устроить Юдит в особую образцово-показательную школу. Ирма и Шаул стали жить в школе-интернате под Москвой, в Малаховке. Их школа тоже была и образцовой, и показательной, и опытной, но ее организовала Евсекция, и уроки там велись на идиш. На том, чтобы мальчиков отдали в еврейскую школу, настояла их мать Эстер. Позже в Малаховку привезли и Цви-Гирша.

Юдит, приехавшая летом в Москву, до начала учебного года жила у Сары, имевшей комнату в здании Наркомпроса, где вместе с ними была и Фаня, учившаяся на курсах машинописи. Осенью 1920 года Юдит и пошла в классы той, получившей позже некоторую известность школы, которая звалась смешно звучащей аббревиатурой МОПШКа — Московская опытно-показательная школа-коммуна.

О жизни и быте этой школы, о ее обитателях очень живо, талантливо, с юмором и лиризмом написал в одной из своих повестей-воспоминаний Александр Израилевич Шаров, — ныне здравствующий хороший, честный писатель, живущий в Москве, который в те же двадцатые годы тоже учился в МОПШК'е. С А. И. Шаровым я был знаком, и однажды сказал ему, что слышал об описанной им школе от своей матери. Он был из более старших детей, Юдит же попала туда уже спустя некоторое время после организации школы.

Школа помещалась во 2-м Обыденском переулке. Основал ее известный большевик П. П. Лепешинский, который привез в Москву из Рогачева много детей, в их числе и детей ссыльных революционеров. Были среди них сироты и беспризорные. Моя мать помнит еврейские имена Дины и Ханы — дочерей революционе-

ров и помнит русскую девочку Дашу — из крестьян, откуда-то из российской глубинки. Так как школа была на положении привилегированной, то скоро в ней оказались и дети крупных партийцев, которые жили аж в самом Кремле. Так, учился там несколько ранее и приходил повидать свою школу Сергей Троцкий. Учеником школы был Егор ("Горка") Елизаров, который выдавал себя за племянника Ленина, но на самом деле только воспитывался в доме его сестры Анны Ульяновой-Елизаровой. Представителями других известных "партийных фамилий" были дети Цюрупы, Свицерского, Акулова, Теодоровича и др. Юдит приглашали в гости к некоторым из этих кремлевских жителей... По ее словам, общая атмосфера в школе была дружественной, и хотя эта группа детей и выделялась, их обособленность носила естественный характер: они, например, шли на воскресенье или среди недели к себе домой, тогда как другие оставались в школе.

Почти все ученики были в комсомоле. Юдит, хотя и делала доклады о марксизме, осталась вне комсомола, может быть, как она считает сейчас, потому что думала об отце, уехавшем в Палестину. Она, подобно многим в юности, вела дневник, в который записала как-то свое стихотворение о Ционе. Любопытные соученики стащили этот дневник, а затем подбросили его владелице, но страница со стихотворением оказалась вырванной.

Это было время различных экспериментаторских новшеств в советской педагогике (и не только в ней), и понятно, что опытно-показательная школа тоже не обходилась без таковых, тем более, что учителя были молодыми. В свои школьные годы я занимался по задачнику, автором которого была мамина учительница арифметики Е. С. Березанская. Учителем рисования в МОПШК'е был довольно известный художник Башилов, который показывал ученикам архитектуру Москвы и водил их в музеи. Учителя жили при школе. Вечерами устраивали диспуты, ставили спектакли, — словом, жизнь в коммуне была интересной. Летом учеников вывозили в имение Успенское под Москвой,

так что Юдит в Узляны больше не ездила. Напротив, приезжала повидаться со своими детьми Эстер, оставшаяся в Узлянах с малышами. Там, меж тем, наступил настоящий голод. Эстер ходила по деревням, выменивая соль на крупу. Соль эту она получала в виде жалования из кооператива, куда ее устроили на место Шмуэля Давида. Однажды зимой, идя из деревни, она обессилела, села где-то, не то в лесу, не то в поле, и начала замерзать. На нее случайно наткнулся прохожий мужик, привез замерзшую в местечко, там ее отходили.

Голод был и в Москве. Эстер на всю жизнь запомнила, как она, приехав к дочери в МОПШК'у, взяла привезенную с собой буханку хлеба, стала разрезать ее на всех детей и увидела, что в глазах у Юдит появились слезы...

Вероятно, Эстер во время приезда в Москву уже готовилась к тому, чтобы отправиться к мужу.

Считалось, что Шмуэль Давид был вынужден стать политэмигрантом, то есть, что он бежал от поляков. И хотя перед поляками в различных удостоверениях его пытались представить настроенным *антисоветски*, теперь, при выезде его семьи, полезно было сделать уехавшего *просоветским*. Как жене политэмигранта, Эстер помогла Евсекция, от которой, кроме официальной поддержки, была получена одежда и обувь на всю семью.

Шла весна 1922 года. Юдит не было и шестнадцати. По сути дела, с этого времени — с отъезда в Палестину всерьез начинается жизненный путь нового поколения моей семьи — поколения родителей. И в Одессе, куда направилась из Узлян семья Шмуэля Давида, веяли те же ветры: о выезде в Палестину мечтали братья Симон, Яков и Александр Розинер. Юдит была где-то совсем близко от будущего мужа, пока в течение двух-трех недель она с семьей оставалась в Одессе в ожидании документов и парохода. В самом конце весны семья Рабинович на пароходе "Пелопоннес" отбыла в Кон-

стантинополь, а оттуда, с заходом в Александрию, добрались и до Хайфы...

Проводив их, надо вернуться в Одессу, чтобы рассказать о семье отца.

Как уже говорилось, перед Мировой войной жизнь семьи Розинер протекала в достатке и спокойствии. Дети-гимназисты подрастали, отец расширял свою издательскую деятельность и был полностью независим. Получивший высшее образование Александр — брат Вульфа — уверенно принял, как уже говорилось раньше, бразды правления конторой А. Ф. Маркса из рук уехавшего за границу Лазаря, и еще один, самый младший из этого поколения Розинеров — Хаим, о котором пока не говорилось ничего, заканчивал медицинский факультет: учился он почему-то очень долго и за это получил в семье кличку "Вечный студент".

Наступившая Мировая война несет в эту благополучную семью первые смерчи. При наступлении немцев в Польше бросает свой дом в Люблине и приезжает в Одессу дед Шая Лейба. Старик болен раком печени, он проводит последний свой год в семье сына Вульфа, не допуская в свою комнату внуков: дети, говорил он, не должны видеть людские страдания. Мой прадед Иехошуа Арье (Шая Лейба) Розинер умирает в 1915 году. В том же году призывается в армию новоиспеченный медик — "вечный студент" Хаим Розинер. Уже в офицерском мундире он приходит прощаться с братом и его семьей — и исчезает навсегда. Ушел на фронт и полюбившийся детям их репетитор Семен Моисеевич Браславский, тоже медик. Он сфотографировался вместе со своими воспитанниками — усатый, в пенсне, в мундире и с шашкой, — потом писал детям с фронта, как-то раз приехал и подарил мальчикам немецкий противогаз и патронташ, — и тоже где-то пропал...

Издательское дело Владимира (Вульфа) Розинера пошло к упадку. Понятно, что во время войн люди

больше читают газеты, чем книги, а студенты от изучения естественных наук переходят к изучению устава строевой службы. Торговля книгами угасала. Советская власть, запретившая вообще всякую торговлю, конфисковала магазин в пользу государства. Вероятно, со сменой властей (а она менялась в Одессе 16 раз за три года!) делались попытки гальванизировать издательство и вести его работу уже под государственной маркой: "Комиссионер Императорской Академии Наук" становится "Комиссионером Российской Академии Наук". "Издание книжного магазина "Образование" становится "Изданием Полиграфобъединения г. Одессы" и т. п. Продолжали выпускаться все те же книги, но на ужасной бумаге. (В семье до сих пор хранится роскошный учебник "Природоведения", выпущенный в 1914 году, и тот же учебник выпуска 1924 года уже на газетной бумаге. Это было 34-е издание популярной книги!) Пытались издатель и его авторы создать кооператив под названием "Новая жизнь". Дети, не веря в прожектерскую затею, назвали ее "Новая фига".

Бывший хозяин издательства и магазина вынужден пойти на техническую работу статистика в ту типографию, где печатались его книги. Бывшему "частнику" приходилось теперь доказывать, что он "не верблюд": в семейном архиве хранятся справки, где пишется, что "В. Розинер, деятельность которого состоит в издании учебников и школьных пособий... принадлежит к числу лиц, занимающихся общественно-полезным трудом".

Вероятно, без подобных удостоверений могли и уничтожить буржуя... Однако ареста и этот мой дедушка не избегает.

У него после реализации оставшихся книг было немного немецкой валюты, и кто-то часть этой валюты у него купил. В тот же день вечером в квартиру нагрянули с обыском. Стали перерывать вещи, и Вульф попросил сказать ему, что же у него ищут. Искали, ока-

зывается, валюту. Он предъявил оставшиеся марки, и его увели.

Одесское ЧК помещалось в большом доме богача Маразли. Дети — Яков и Шура — стали ходить к зданию ЧК с надеждой что-то разузнать об отце. Однажды они увидели, как оттуда вышел их знакомый парень Ленька Лернер, и они пошли за ним. Этот Ленька, как оказалось, работал в отделе по борьбе с уголовной преступностью. Он сказал, что арестованных, которых направляют в расположенную неподалеку тюрьму, выводят из здания в определенные дни и часы. Братья дождались одного из таких дней и увидели, как перед выводом заключенных улицу очищают от прохожих. Ребята спрятались в подъезд со стеклянными дверьми и оттуда наблюдали за происходящим. Им пришлось дежурить там около месяца, пока они не увидели, как вывели их отца. Затем они отправились в тюрьму, узнали, когда можно приносить передачи. Это были еще "патриархальные времена" советского репрессивного аппарата: детям разрешили повидаться с арестованным (свидание происходило под въездной аркой, ведущей во двор тюрьмы, и говорившие были разделены двумя решетками), и он попросил сыновей пойти в рабочий комитет типографии. Рабочие его спасли: написали о нем хороший отзыв, поручились за него, и деда выпустили...

В 1920 году, в период голода и разрухи, гимназии прекращают свое существование, и трое детей Владимира Розинера в уже реорганизованные советские школы не идут. Неразлучные Яков и Шура (они окончили соответственно 6-й и 5-й классы гимназии) решают поступить в мореходное училище на судостроительное отделение, но так как строить тогда было нечего, это отделение не открыли. Подали на судовождение, Шуру приняли, а у Якова обнаружился дальтонизм, и ему было отказано в приеме уже после сдачи экзаменов. Он пошел на судостроительный факультет Политехникума, где успешно сдал экзамены за всю восьмилетнюю гимназическую программу. Начав хо-

дить в Политехникум осенью, Яков скоро перестает посещать занятия из-за их низкого уровня: слушателями были в основном красноармейцы, чьи знания были весьма ограничены, преподавателям же приходилось приравниваться к ним.

Наступали голодные годы. Надо было зарабатывать, и Яков работал то санитаром в госпитале (еще в 1919 г.), то в американской АРА (организация помощи голодающим) — разносил извещения и посылки. Братья, посетив какие-то курсы, научились делать мыло из глины "кил", делали также спички, однажды Яков сплел для всей семьи веревочную обувь. Ходили они на лиман, где добывали соль, которую после промывки и сушки выменивали на крупу и муку. В 1923 году в поисках работы Яков пришел в Евсекцию, и там ему предложили отправиться на поля орошения под Одессой. Любопытная деталь: в Евсекции ему сказали, что на орошаемых полях, куда они его направляли, располагаются огороды "Хе-халуц," то есть идеологических — сионистских противников большевиков, руководивших Евсекцией. Отступила ли тут идеология перед еврейской солидарностью или перед необходимостью спасти граждан от голода — трудно сказать.

На улицах Одессы люди падали от истощения. Лежали неубранные трупы. Три брата заболели цингой, десны опухали, выпадали зубы (помню с детских лет: у отца недоставало нескольких зубов).

Жизнь в Одессе разладилась полностью, и глава семьи, уже пятидесятилетний, пришел к выводу, что свой опыт книжного работника он сможет приложить лишь в таких крупных центрах, как Москва и Петроград. В 1922 году он уезжает из Одессы в Москву, а чуть позже, вероятно, при помощи брата Александра, перебирается в Петроград, где начинает работать в бывшем издательстве А. Ф. Маркса. Вскоре к нему приезжает и жена. Что же касается трех его сыновей — Семы, Яши и Шуры, то они отправляются в сторону совсем иную.

Мой отец Яков Розинер рассказывает об этом периоде — последней странице перед началом его новой жизни:

— Как-то в 1919 году мой одноклассник Мара Зайдлер рассказал мне, что он вступил в организацию бойскаутов при еврейском спортивном обществе "Маккаби". Я и брат Шура тоже пошли туда вместе с Зайдлером и записались.

Там оказалось очень интересно. Мы ходили в походы за город, к морю, устраивали ночевки в палатках, на кострах готовили пищу. Каждый скаут сдавал экзамены "на специальность" по особым программам — на телеграфиста, электрика, повара или столяра и т. п. Овладевший специальностью получал соответствующий знак, который нашивался на рукав, и уважение вызывали те, кто были владельцами нескольких таких знаков. Формой нашей были короткие штаны и рубахи с отложным воротником. Собирались мы обычно в помещении общества "Маккаби", активисты и руководители общества были начальниками наших отрядов. Начальником всей дружины был доктор Гиммельфарб, из начальников отрядов я помню по имени студентов Натана Соломоновича Гальперина и братьев Давида и Федора Каждан. Одним из отрядов руководил Владимир Ицкович, который потом приехал в Палестину. Он был тогда капитаном дальнего плавания и плавал на пароходах Одесско-Кавказской линии. С ним дружил мой старший брат Семен. Недавно я узнал, что Ицкович умер в Израиле незадолго до моего возвращения в страну... Здесь, в Израиле, как мне говорили, живет и Рива Черня, которую я помню по тем временам.

Занятия шли на русском языке, так как многие, подобно нам, не знали идиш, ни тем более иврита, но песни пели на иврите, в их числе и "Ха-Тикву". Знамя дружины было бело-голубым, а к отрядным значкам-вымпелам подвязывались бело-голубые ленты.

Отряд делился на шесть-восемь патрулей. Каждый патруль выбирал себе род занятий, исходя из своих склонностей. Занимались, например, литературой и да-

же философией. Наш патруль увлекался электротехникой. Мы изготовили радиоприемник, и хотя его мощности хватало для сигнала на 15-20 метров, тогда и это выглядело большим достижением.

В патрулях изучали и еврейскую историю, но это не было чем-то обязательным. Национальное чувство поддерживалось естественно, прежде всего благодаря единству и общности нашего происхождения, просто мы знали, что все мы евреи, что все мы члены еврейской молодежной организации.

Общество "Маккаби" в одесском спортивном мире пользовалось уважением. Футбольная команда, выставленная "Маккаби", была одной из лучших в городе. Все члены общества входили в состав городской еврейской самообороны. (Кстати, состояли в ней и студенты-неевреи, проявлявшие тем самым солидарность с еврейской частью населения). Шла гражданская война, опасность беспорядков и погромов висела постоянно, и только сильная самооборона предотвращала их. Сила и авторитет ее были таковы, что красные, уходя, передавали самообороне дело поддержания порядка в центре города. Любопытно, что защитниками евреев были также одесские налетчики — друзья бабелевского Бени Крика, то есть Мишки Япончика в реальной жизни.

Под командованием Мишки Япончика был настоящий отряд, который присоединился к Красной Армии. Говорили, что сперва отряд послали бороться против банд, действовавших в окрестностях Одессы. Потом отряду приказали перейти на другой участок, но Мишка и его товарищи отказались, что было расценено как бунт. Красные окружили их и перебили. Верно ли это, — не могу сказать.

Когда пришла революция, мы были еще совсем юными. Идеи коммунистического братства и равенства были нам близки. Но и при наших прокоммунистических настроениях мы видели, что революция не решила национальных проблем. То и дело шли вести, что по Украине и вокруг самой Одессы устраивают погромы — то бандиты, то петлюровцы. Под влия-

нием этих вестей несколько человек из бойскаутских отрядов пошли добровольцами в Красную Армию. Другие же, в том числе и мы, стали задумываться об отъезде в Палестину. Нам не казалось, что идея сионизма противоречит коммунистической идее: за социальную справедливость можно бороться везде, в частности и на земле евреев. Я носил шестиконечную звезду со словом "Цион" — значок, который ювелир — отец одного моего приятеля сделал мне из десятикопеечной серебряной монеты.

Еще в 1920 году я ходил в одесский исполком с заявлением о выезде. Мне отказали. "Зачем ты хочешь ехать? Здесь революция, будет новая жизнь", — стали отговаривать меня. Я ответил, что тут погромы и что новую жизнь я могу строить и в Палестине... Когда кончилась война с Польшей, мы получили право стать польскими гражданами, так как отец был уроженцем Польши. Мы воспользовались этим, рассчитывая, что польский паспорт поможет покинуть Советскую Россию. Старшему брату Семе это удалось раньше нас, и он уехал в Палестину в 1922 году. А в следующем году получили польские паспорта и мы с Шурой. В октябре 1923 года мы сели на пароход, шедший в Константинополь: мы якобы выезжали в Польшу, но по дороге хотели повидаться с жившим в Константинополе дядей...

В Одессе мы успели уже получить несколько писем от Семы. Он писал, что в Палестине очень тяжело и советовал подумать, стоит ли нам ехать туда. Это нас ничуть не остановило. Однако в Константинополе выяснилось, что Палестина закрыта для въезда и что даже получив польскую визу, мы не сможем туда попасть. Тогда мы сочинили еще одного дядю, который будто бы жил в Бейруте (принадлежавшем в то время Сирии), и получили визу на въезд в Сирию.

Отправились мы из Константинополя на итальянском пароходе, который шел сначала в Александрию, заходил затем в Яффо и только потом направлялся в Бейрут. В Яффо, где мы надеялись сойти, пароход

стал на рейде, подошла лодка с чиновниками, и, конечно, сойти на берег нам не позволили.

Мы прибыли в Бейрут, где провели примерно с неделю. Прежде всего мы попытались проверить, нельзя ли подойти к границе Палестины пешком. Для этого однажды утром вышли налегке за город и отправились в направлении к юго-востоку. Уже довольно далеко от города, где-то среди песков, мы натолкнулись на французский патруль. Мы с братом неплохо говорили по-французски и в ответ на расспросы офицера ответили, что живем в Бейруте у родственников, а здесь мы на прогулке. "Тут не гуляют", — ответил он. Мирно беседуя с офицером, мы вернулись в город.

Вечером мы бродили по набережной. Неожиданно к нам подошли два парня. "Вы говорите по-русски?" — с явной радостью спросили они нас. Обрадовались, конечно, и мы, встретив "своих", и быстро перезнакомились. Один из парней, К., оказался даже одесситом. И тут уместно сказать, что с той поры мы с К. навсегда остались друзьями. Он был палестинским коммунистом, а в Бейруте, как много позже мы узнали, находился по партийному заданию. К. обещал помочь нам перебраться через границу.

На следующий день он повел нас к своему знакомому. Это был богатый еврей-коммерсант, живший в роскошной вилле. Хозяин встретил нас прекрасно, угостил турецким кофе и пообещал через два дня взять нас с собой в Палестину, куда направлялся по делам. Ехать мы должны были под видом его сыновей. У него действительно было два сына примерно нашего возраста. И в назначенный день мы сели вместе с ним в машину, положив наши вещи в багажник. Наш коммерсант показал нам паспорта своих сыновей, и мы запомнили наши "имена". Быстро доехали до границы. Проверка на пограничном посту была короткой, так как нашего "папу" здесь хорошо знали. Дружеский дух был поддержан и бутылкой коньяка, врученной французам. Отъехали от границы подальше, наш опе-

кун остановил машину, снабдил нас провизией и показал дорогу на Метулу. Мы тепло распрощались с ним и двинулись в путь.

Ночевали мы в одном из кибуцев. На следующий день пошли в Хайфу. Добрались до города поздно вечером. Как раз наступила суббота. Спросили, где можно найти ночлег. Нам показали на что-то вроде еврейской гостиницы. Когда мы постучали туда и объяснили, что устали с дороги, нас осыпали градом ругательств: какие вы евреи, если путешествуете в субботу?!

Мы не знали ни иврита, ни идиш, только немецкий немного помог понять отдельные слова на идиш. Какой-то халуц повел нас в палаточный лагерь около порта. Нашли палатку с двумя пустовавшими кроватями, и мы, наконец, улеглись.

Между прочим, много позже выяснилось, что совсем рядом с гостиницей, откуда нас прогнали, жила семья моей будущей жены. Сейчас, спустя пятьдесят шесть лет, один из ее братьев, смеясь, спросил меня, почему мы с Шурой не зашли тогда к ним. Я отшутился, сказав, что по дороге в Хайфу потерял их адрес...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ВРЕМЕНА ОТЦОВ ПАЛЕСТИНА

Приступая к этой главе, я испытываю некоторую неуверенность. Мне предстоит рассказать здесь о жизни в Палестине в тот знаменитый "халуцианский" период, который сегодня в изложении преподавателей ульпанов и брошюр по истории Государства Израиль выглядит уже как легендарный. Надо сказать, что и в слышанных еще в детстве обрывочных рассказах моих родителей об их молодости в Палестине эта жизнь представляла в романтическом ореоле.

Романтизм был во всем: и в тяжелой работе камнедробильщика — ведь физический труд должен был пролетаризировать, т.е. облагородить мелкобуржуазную натуру еврея! — и в борьбе против власти капитала и английского империализма — ведь эта борьба должна была привести к революции, социализму, коммунизму, то есть к торжеству социальной справедливости!.. И рассказы об отдельных эпизодах этой борьбы, о забастовках, демонстрациях, полиции и листовках рисовались мне, ребенку, а потом юноше, как что-то весьма нереальное, будто вычитанное из какой-то книжки. И фотографии красивых молодых людей, чьи лица проступали из выцветших изображений, казались мне иллюстрациями к этой странной, написанной в приподнято-

героическом стиле книжки... Не могу сказать, что я многое знал и многое понимал о годах, прожитых родителями в Палестине. Я как-то с ранних лет усвоил, что "это было", усвоил, что расспрашивать и интересоваться этим "было" слишком много не следует: я не раз наталкивался на недомолвки, оговорки — словом, чувствовал, что "Палестина", как и все "еврейское", — тема скользкая, в которой вся правда и реальность слишком опасны, чтобы о них рассказывать вслух. Поэтому я особо и не вникал в сущность того эпизода семейной истории, который звался "в Палестине". Кроме того, со временем мое отношение к понятиям "социализм", "коммунизм" и "социальная справедливость" стало совсем иным, чем у отца и матери. И уже довольно давно, когда родители однажды вспоминали, как папа разбрасывал листовки во время выступления Бялика в хайфском Технионе, я полушутя-полусерьезно сказал: "Эх, папа, папа! И тебе не стыдно было? Люди пришли послушать великого поэта, а ты с какими-то листовками!.." Это действительно была полушутка, но в каком-то смысле эпизод с листовками стал для меня символическим, и я потом в беседах с друзьями на волновавшие нас политико-общественные темы не раз приводил этот пример, показывая на нем, как возникает конфликт между культурой и революцией. Сравнительно давно я также пришел к выводу, что пролетаризация ничуть не облагораживает, что и среди пролетариев и работников физического труда непривлекательных с моральной точки зрения людей ничуть не меньше, чем в среде работников умственного, "чистого" труда, что торговля не всегда связана с обманом, а частное предпринимательство вообще — с эксплуатацией. И потому к "романтизму 20-х годов" — палестинскому или российскому — я стал относиться довольно скептически, понимая, разумеется, что мое отношение "постфактум" носит характер исторической оценки, тогда как сами носители этого романтизма действовали внутри реальности, которая для них выглядела совсем иначе, чем для меня уже спустя де-

сятилетия. Таким образом, для меня самого есть внутренняя противоречивость в том, о чем будет идти рассказ в этой главе, и этого уже достаточно для авторской неуверенности. Но другая причина, может быть, более существенна.

До сих пор рассказ шел о России. И после этой главы вновь будет Россия. И даже когда мне приходилось писать о временах столетней давности и о жизненном укладе уже совершенно исчезнувшем, я все же чувствовал некую внутреннюю — именно уверенность, которая основывалась на моих общекультурных, исторических и даже интуитивных знаниях, связанных со страной, где я родился и жил. Если я реконструировал ландшафт и план местечка Узляны, то при этом чуть ли ни видел это селение, поскольку в моем сознании возникало множество ассоциаций и аналогий с виденным, слышанным, читанным прежде в России и о России. Но о жизни в Палестине я не могу сказать того же. Я еще слишком мало знаю об этой земле, слишком мало прожил тут и не впитал в себя, конечно, и тысячной доли того, что позволило бы с уверенностью писать о здешних событиях пятидесятилетней давности. И потому я должен буду ограничить эту главу лишь кратким описанием событий, рассказанных мне моими родными. Тем более, что, по-видимому, об этом периоде многое написано здесь, в Израиле, а я, не знакомый с этой литературой, никак не могу судить, какой интерес представит моя запись. Однако безусловный интерес представляют собой, как и в предыдущих главах, воспоминания Шмуэля Давида, вернее, уже не воспоминания, а дневник, посвященный первым дням и месяцам его пребывания в Палестине. Этот дневник завершает то, что написал Шмуэль Давид о своей жизни. Привожу эти несколько последних страниц из жизнеописания моего деда.

Записки (дневник) деда Шмуэля Давида Рабиновича
(окончание)

Итак, в 4 часа пополудни вторника 10 августа 1920 года мы прибыли к берегу Яффо.

У меня не хватит слов для описания радости, охватившей нас, когда мы увидели выкрашенную в белое и голубое лодку, приближавшуюся к нашему судну. На ветру реяли флаги, звучали поднимавшие дух песни.

Появились врач и чиновники, после осмотра, проверки документов и разных бесконечных процедур мы сошли на берег и отправились в гостиницу "Ха-позл ха-цаир". Там мы поели и переночевали.

В той же гостинице оказалась и наша узлянская группа, прибывшая в Яффо 3 августа: Липа и Элияху Соловейчик, Залман Фрид, Беньямин Фукс, Мордехай Канторович, Пинхас Берман из Интова, Хаим Бернштейн из Руденска и Залман Рахманчик из Пуховичей.

18 августа мы выехали в Хайфу на 16-й км строительства дороги Хайфа — Нацрат. Прибыли туда 20-го и на завтра вышли на работу. Нам были приготовлены палатки, инструменты и немного пищи. Четыре товарища ждали нас. Итак, начали работать.

Работа была разная: поденная и "подрядная" (сдельная. — Ф. Р.). Так как я стал бухгалтером группы, то есть работал по специальности, на меня легла обязанность организовать наш труд.

3 сентября я поехал в Хайфу — это была годовщина смерти моей матери. Пробыл там субботу, молился в синагоге и 5 сентября, в воскресенье, вернулся на работу.

В исход субботы 11 сентября — в вечер Рош-ха-Шана все мы поехали в Кфар-Тавор на двух телегах Мойше Козна и Аарона Мармера — земледельцев из этой колонии, которые со своими телегами работали с нами на дороге. Праздник мы хотели провести в их колонии. У подножья горы Тавор из арабских палаток появились люди и открыли стрельбу. У нас были винтовки

и револьверы, и мы им ответили. Свернули с дороги, испуганные мулы помчали. Я услышал, как закричал Липа: "Товарищи, кажется, в меня попали, я ранен!" Я ехал в другой телеге. Соскочив с нее, подбежал к нему, спросил: "Что? Куда?" — он не отвечал. Может, он без сознания? Стал его тормошить, приложил к его вискам руки, он открыл глаза, но не больше того... Все это было слишком близко от опасного места, и мы не могли оставаться здесь. Я спросил хозяина телеги, есть ли другая дорога. Он попросил, чтобы кто-то взялся править мулами, а сам взял винтовку, также и мы с Фуксом взяли по револьверу, и повернули опять на дорогу. Снова в нас начали стрелять, в ответ стреляли мы, и так, во время перестрелки, изо всех сил погоняя мулов, мы быстрым галопом проскочили опасное место, затем спустились под гору, где был маленький ручей, и там остановились. Напились, попробовали вернуть к жизни Липу, но он оставался недвижим. Мы продолжали погонять лошадей, стремясь быстрее добраться до поселка, где был доктор. Навстречу уже вышла молодежь мошава с винтовками: они слышали стрельбу и поняли, что случилось что-то. Кто-то из них сказал: "Еще одну жертву везут нам". Я разозлился: "Не каркай!" — ответил я ему, думая, что Липа только ранен в левую руку. Но когда мы пришли в колонию, к аптеке, где ждал нас врач, он, осмотрев Липу, сказал, что признаков жизни нет. Пробовал что-то делать, но все было безнадежно.

Так ушел от нас Липа Соловейчик — накануне Рош-ха-Шана, 11 сентября 1920 года, и в тот же день он был похоронен там же, в Месхе, Кфар-Тавор, в Нижней Галилее. Похоронили его рядом с Моше Климентовским, который за три месяца до этого пал жертвой на той же дороге.

Заявили о случившемся в Тверию и Нацрат, оттуда выслали солдат и полицию, которые арестовали шестерых арабов.

(Мой дядя Ирмияху добавляет о Липе. Из России вся его семья уехала в Америку, и мать прокляла его

за то, что он поехал в Палестину. Когда потом сестры Липы приезжали сюда, они отказались посетить могилу брата. Ирмияху же позаботился о памятнике ему. Элияху, двоюродный брат Липы, жил в Хайфе — Ф. Р.)

Еще за неделю до этого, 6 октября, я подал письменное заявление, в котором просил перевести меня на другое место. Мое заявление не приняли, стали убеждать меня остаться. Я не обещал ничего. После Рош-ха-Шана я снова просил о том же и предупредил, что им придется платить мне двойную плату, даже если я не буду работать. Причину, по которой я хотел отсюда уйти, я опишу ниже.

21 сентября накануне Йом-Киппур мы снова ехали в Месху, и я гостил в доме Изака Лобанова. Тут же была и вся группа наших, каждый устроился у кого-то дома. Элияху Соловейчик и Пинхас Берман за два дня до нас приехали сюда и стали работать у колониста, где их хорошо встретили. Фукс остался на шоссе, он был болен. Болел и Хаим Бернштейн, который был в Хайфе.

После Йом-Киппур я поехал с Мармером в Тверию, намереваясь оттуда отправиться поездом на Хайфу и по дороге сойти у нас на шоссе. Но в этот день поезда не было, я остался в Тверии и нашел дилижанс, отправлявшийся в Нацрат (город, где жил Иисус Христос).

Вечером 23 сентября я был в Нацрате, где было много арабов, турок, русских, французов, но ни одного еврея, и я оказался в затруднении, так как не знал арабского. Извозчик привез меня к "Новому отелю" в Нацрате, и не успел я сойти с повозки, как какой-то парень спросил меня на идиш, что я здесь делаю? Он с большой предупредительностью пригласил меня к себе. Мы познакомились. Звали его Хаим Щедровский, он был родом из Пинска, был студентом в Лодзи, здесь работал в местном управлении. Он с большим гостеприимством принял меня, угостил ужином и устроил мне ночлег. Наутро мы позавтракали, и хозяин познакомил меня со своим товарищем — офицером по-

лиции Кричевским. Он и еще один полицейский проводили меня к станции, и в 10 часов я выехал в сторону Хайфы.

Всегда я думал, что первый город, который я посету в Эрец, будет священный Иерусалим. Но вот случилось, что первым городом оказался Нацрат – город Христа, где нет евреев. Так уж бывает, что получается иначе, нежели предполагаешь.

Доехал до Хайфы, 24-го вернулся на шоссе, где был уже новый бухгалтер Тейтельман, и стал передавать ему дела. Все было в порядке, и все остались довольны. Сидели допоздна, так как я хотел все закончить, чтобы не оставаться тут на субботу.

На исходе субботы я гулял на Кармеле с группой из 27 человек. Было поздно, и там, где алтарь пророка Ильи, мы заночевали. Монахи дали нам приют. Прогулка была интересной. Карабкались по скалам. В монастыре мы мало что увидели: стена, двор, несколько картин и скульптура Ильи. Священники объяснили, что это остатки, все тут было уничтожено. Ночью в комнате я читал для товарищей лекцию о еврейских пророках, о царе Ахаве и его жене Изевел, о том месте, где мы находились.

Утром вернулись на шоссе. Я рассчитался и на телеге вернулся в Хайфу. Сукот провел в Хайфе, вечером был в синагоге Нахалат-Исразль.

28 сентября. Утром выехал в Иерусалим и в 2 часа дня был там. В душе были холод и пустота, как будто ничто не взволновало меня при мысли, что я в Святом городе, как будто я потерял всякое чувство. Я так жаждал всю жизнь этого часа, а когда он пришел – вот, ничего не чувствую. Город полнится шумом, всюду множество людей. Может быть, во всем виновато состояние, в котором я был, находясь в Иудее и в Галилее, та распушенность, с которой столкнулся там, и это люди убили во мне все чувства, привели к отчаянию и сомнению. Я не хочу особенно судить об этом, но нуж-

но потратить много сил, чтобы победить все это в себе. Пока же холод и разные мысли иссушают мой мозг.

Спустя неделю. Я не успел ничего. Искал Гиршфельда, чтобы получить долг за работу. Встретил Раковско-го, который был очень обрадован, обнял, оказал мне всяческое внимание и просил навестить его. Назавтра познакомился с Рабиновичем (Ирмияху объяснил, что это был Иосеф Рабинович, секретарь доктора Руппина. — Ф. Р.). Жена его — из Бобруйска, дочь Боруховича. Они меня приняли как почетного гостя. Назавтра навестил их еще раз.

В пятницу почувствовал себя плохо, но все-таки пошел к Гиршфельду. И вечером пошел в синагогу, а когда после молитвы пришел в гостиницу, уже не мог ни двигаться, ни есть. В субботу меня взяли в больницу Ротшильда как тяжелобольного. В больнице увидел Авраама Гилеля из Марьиной Горки. Мне было плохо, и я не мог подойти к нему, хотя мы и лежали в одной палате. Он страдал от тяжелых болей, все время кричал и бредил. И в последние свои часы он произнес такие слова: "Товарищи халуцы, послушайте меня: оставьте это место!" В тяжелых страданиях он испустил дух 5 октября 1920 года.

И нет никого из близких и родных, кто мог бы прийти к нему, чужому и одинокому в стране отцов, в Иерусалиме.

10 октября. Вышел из больницы, хотя чувствовал себя не очень здоровым. В понедельник пошел к Стене Плача. Среди убогих, слепых и немых в маленьких переулочках сидят женщины-йеменитки и сефардийки с протянутыми руками. Не молятся, спят, зевают и жуют. И всюду они. Их одежда, поведение, попрошайничество убивают все святое в душе человека, направляющегося к Стене Плача. Стена высокая, но на ней есть уже новые и высокие дома, чтобы арабы не могли бросать камни. Нижние плиты очень большие, может быть, метра в два длины и ширины, а в глубину, конечно, я не мог знать, сколько. На всем лежит печать древности. Сверху среди плит трава. У стены много моля-

щихся и плачущих. Дорога идет по узкому переулку, кончается маленькой площадью и упирается в арабский дом. В этом переулке не пройти ни телеге, ни даже ослу. Каждый пришедший целует Стену и начинает молиться. Есть там служка, около него жестяной ящик, и там горят светильники. Масляный светильник может зажечь каждый по предложению служки. Так как я не захотел этого, он стал требовательно говорить, что это большая *мицва*, и не следует от нее отказываться. Конечно, он за эту *мицву* получал свое. Каждому вручал он молитвенники. На камнях записаны имена побывавших там, и в щелях — записки с молитвами.

Итак, я навестил место, самое святое и дорогое в жизни каждого еврея.

14 октября. Я отправился в 6.30 утра из Иерусалима поездом до станции Рас-Эль-Эйн и к полудню был в Петах-Тикве. Там ночевал в семье Закрасницкого. Встретили меня очень хорошо. Я с его сыном Моше Яковом прогулялся в мошаву, познакомился там с рабочими.

Назавтра в полдень выехал дилижансом и поздно вечером поездом прибыл в Хайфу. Провел там субботу, гулял на Кармеле, встретился с приезжими и ел плоды Эрец — миндаль, рожки, гранаты, финики. Хотел побывать в различных исторических местах, но не было провожатого, а я не знал, куда направиться.

17 октября. Уехал обратно на стройку. Приехал ночью, и там товарищи попросили меня поработать еще несколько недель в качестве бухгалтера. Я посчитался с их просьбой и остался на целый месяц.

19 ноября. Потребовал, чтобы меня освободили. Я хотел пойти в рабочие в Месхе, где была моя группа. Закончил счета и поехал в Хайфу купить кое-что для жизни в Месхе.

Вообще-то, положение на стройке шоссе улучшилось, но оставалось мне не по душе, почему я и уходил

оттуда. Приведу здесь вкратце некоторые объяснения — для памяти, для будущего; и закончу об этом.

С самого начала, когда я устроился работать на дороге, я видел, что национальная идея тут никого не интересует. Они только рабочие — и не больше. Мы приехали в Эрец Исраэль, и первый вопрос, который возник, была проблема кухни: кошерное или трефное. Они требовали мяса. Но кошерное мясо было очень дорого, поэтому покупали государственное или английские консервы. Это было первое противоречие. Так как трудно было с этим смириться, я устроил общее собрание и попробовал повлиять на товарищей, чтобы они ели кошерное. Я просил и умолял, но они не вняли мне.

И так мы разделились: я и Раковский были за кошер. Мои слова шли из самого сердца, но не могли повлиять на всех. Невозможно было убедить их в том, чтобы в субботу не готовили, чтобы не работали волю, чтобы не ездили в Хайфу. Так же вели себя и рабочие мошавы, люди пожилые, и тоже не хотели ничего этого слушать.

Весь этот сброд ничего не хотел слушать! Я почувствовал, что мне и моей группе здесь не место, что не с них нам надо брать пример. Я начал говорить со своими, чтобы оставить это место и пойти работать хоть в колонию рабочим и ради куска хлеба, но остаться людьми. Хотя некоторые из наших уже зажглись от этих углей — стали стирать и курить в субботу, я сказал "хватит!", и мы разошлись с этой группой, устроив отдельную кухню, чтобы у нас был кошер. Но число рабочих увеличивалось, и безобразия, распушенности становилось все больше. Я не мог этого выносить и поэтому решил ехать в Месху, в более спокойные условия.

Под Йом-Киппур от меня потребовали, чтобы я никуда не ехал, оставался ради работы (то есть они продолжали работать в Судный день. — Ф. Р.). Я подал заявление, разнервничался, стучал кулаком по столу и говорил, что невозможно творить подобные вещи.

Не послушался и уехал в Месху. И как потом слышал — одни молились, другие работали, третьи ели и готовили на кухне, четвертые писали письма, а некоторые проклинали это шоссе и руководство. Это отношение к святым для народа традициям привело к тому, что многие оставили там работу, хотя нелегко на это было решиться, и у людей не было денег. За работу не платили сразу, и многие не могли уехать. Некоторые уже привыкли к месту, хотя и страдали душевно и материально, другие же разошлись...

22 ноября. Бенъямин Фукс и Хаим Бернштейн — двое из моей группы приехали проститься: едут в Америку. Вернули мне долг и попрощались.

1 декабря. Начал работать на прокладке канав, чернорабочим. Потом работал с инженером на поле. Приходил навестить меня Мордко Ициков и на следующий день пошел со мной помочь на работе. Спустя пару дней было собрание по поводу сбора денег (для еврейского комитета. — Ф. Р.) и меня избрали в комитет, а его члены выбрали меня председателем комитета Кфар-Тавор.

Работал рабочим в течение месяца. Работы было мало, и мне не всегда доставалось.

Я хотел найти более постоянное место, и Залман Фрид, уезжавший в Америку, поговорил с фермером, у которого работал, чтобы он взял меня на освободившееся место. Два месяца я работал там — в доме и в поле, пахал на мулах, сеял и проч. Но политическая ситуация, нападения, которых было много в этом году, тревожили меня, и каждый раз, когда я ехал на поле, всякие мысли лезли мне в голову, всегда я чувствовал себя в опасности и молил Бога, чтобы Он дал увидиться с семьей, — о большем и не заботился.

Между тем освободилась должность секретаря правления мошавы, и мне начали предлагать пойти на эту должность. Сперва я не соглашался. Но положение с безопасностью еще более ухудшилось, со дня на день ждали нападения арабов, и хотя в мошаву приезжали солдаты, опасность все время чувствовалась. Не очень-

то хотелось быть в поле одному с ружьем за плечом. Я считал, что вид моего ружья только ухудшает мое положение: тот, кто его видит, не будет ждать моего выстрела, а первый нападет сзади.

Я согласился взять должность в конторе, стал секретарем правления с платой в 10 фунтов и с обязательством не оставлять работу в течение года.

Через 20 дней барон Ротшильд с супругой посетили Кфар-Тавор, и я их встречал, и госпожа Ротшильд сказала несколько слов на иврите.

Еще через месяц в Лубия встречали Верховного комиссара Герберта Сэмюэля. Съехались делегаты от всех еврейских и арабских поселений. Встретили его на дороге и пошли в дом, где была трапеза в арабском стиле. Он беседовал по-английски, переводили на арабский. Он спросил, надо ли переводить на иврит, и евреи ответили, что все они понимают арабский. Я был единственным, кто арабского не знал, но я "уступил"... Со стороны Герберта Сэмюэля были высказаны хорошие обещания. Попрощались с ним за руку, и каждый отправился к себе...

Шмуэль Давид пробыл в Кфар-Таворе около года, потом провел три месяца в Хайфе, а затем перебрался в Хадеру.

Двадцать месяцев, прошедшие между его прибытием в Эрец и приездом его семьи, были самым тяжелым периодом в жизни Шмуэля Давида. Периодом, наложившим отпечаток на последующие 15 лет, которые он еще успел прожить. Его сын – мой дядя Ирмияху, который, как я думаю, глубоко понимал психологию отца и, вероятно, многое в своей натуре унаследовал от него, говорит об этом периоде 1920-1922 годов как о кризисе, а, может быть, и крушении идеалов, на которых зиждилась вся предыдущая жизнь Шмуэля Давида. Ирмияху цитирует Бялика: "Молот не нашел себе наковальню". Идеалистический дух не нашел себе места там, где царила грубая необходимость работать, чтобы выжить на этой земле.

Борьба за страну (я пересказываю мысли Ирмияху) только начиналась. Шмуэль Давид принадлежал к Третьей алии, и его судьба — это страница в ее истории.

Как уже говорилось, в 1904 году он купил свой первый шекель. Последний был куплен в 1935 году. Все они хранятся в семье. Он всю жизнь был верным сионистом, всю жизнь он прожил с идеей, в осуществлении которой стремился участвовать начиная с тех пор, когда в молодости устраивал спектакли в пользу сионистской организации. Но, приехав в Страну, он не находит своего места. Начав работать на дороге Хайфа — Джеба, он попадает в совершенно чуждую ему атмосферу. На общественных работах в разных местах концентрировались однородные группы, резко отличающиеся одна от другой, например, в долине Иордана — люди из Второй алии, в Петах-Тикве и Тель-Авиве — промышленные рабочие, тогда как на дороге Хайфа — Джеба были российские выходцы коммунистического направления. Царивший там дух "пионерства" его никак не привлекал, сколь героически не выглядит этот дух сегодня. Ни о каких традиционных правилах, ни о кошерности, ни о субботе тут никто не задумывался, и царившие как там, так и, положим, в Иерусалиме нравы — жизнь грубая и отнюдь не святая — подействовали на Шмуэля Давида с силой шока. Он был свидетелем смерти Липы Соловейчика. И при том, что он отнюдь не был трусом (это видно из его поведения в России), необходимость быть в любой момент готовым к стрельбе, к тому, чтобы убивать или быть убитым, оказалась противна его душе. Но это было время между событиями в Тель-Хае и в Яффо, и опасность была всюду...

В России вокруг него всегда были люди, и он умел и словом и делом воздействовать на людей, направлять их, всегда он был устремлен к тому, чтобы преобразовывать жизнь вокруг. И в Палестине он стремился собрать вокруг себя единомышленников, но тут это не получалось. Сохранилось письмо от сионистской организации, в которой ему отвечают отказом на просьбу

о помощи "Братству" ("Ахва") — вероятно, это была попытка создать какую-то свою группу. Он был одинок и по другой причине. Семейные люди были с семьями, у холостяков был свой холостяцкий образ жизни, а Шмуэль Давид почти два года прожил в непрестанном ожидании приезда жены и детей, и каждый день он мог погибнуть, так и не увидав их. Об этом он пишет в дневнике, об этом есть и отдельная запись, возможно, черновик какого-то письма или устного объяснения — от 3 февраля 1922 года, где он описывает свое состояние: он ничего не знает о семье, и от этого можно сойти с ума, работа тяжелая, у него нет своего угла, хочется спать, но надо идти кормить мула, по субботам те, у кого ностальгия или у кого есть оставленные вдалеке друзья, пишут письма, но он в субботу не пишет, связь с родными нерегулярная, и никому нет дела до того, как проходит его жизнь, как проходят самые тяжелые дни его жизни...

Тут, в Стране, он не пишет в субботу и не курит, тогда как в Узлянах курил, даже демонстративно. Как это и бывает, от одиночества и неприкаянности его созидательный дух приходит в возбужденное состояние, которое находит себе выход в стихах. Шмуэль Давид их пишет на иврите и на идиш. Ирмияху считает, что стихи на иврите несколько вычурны, в них присутствует искусственность, вероятно, автор хотел добиться стилистической приподнятости языка. Стихи на идиш много интереснее и удачнее. Писал их Шмуэль Давид в разных местах и по разному поводу — прямо в поле или в пардесе, он описывает природу, свой труд и свое состояние. Эти стихи — как бы канва его жизни в те годы, и по ним можно восстановить даже ее хронологию.

Но вот, наконец, происходит долгожданное событие: в Хайфу прибывает пароход "Пелопоннес", и Шмуэль Давид встречает свою семью. Два дня они проводят здесь, на берегу, в одной из многочисленных палаток "Бейт-Лина", затем все едут в Хадеру, где живет глава семьи. Шмуэль Давид работает там механиком на поли-

вальной установке в поле. Поначалу все семейство разместилось просто под деревом, где жили так до поры, пока не начались осенние ветры. Тогда сняли комнату у некоего Халили, в каком-то почти развалившемся строении. Своих четырех старших детей — от шестнадцатилетней Юдит до девятилетнего Цви — отец пристроил на работу к колонисту собирать миндаль и оливки. Двое лезли на дерево и трясли его, двое внизу собирали плоды в жестяные банки. В Хадере семья прожила около года, затем перебралась в Неве-Шаанан, где разместились в бараке. Тут для Юдит нашлась работа разносчицы галантерейных товаров: она брала у хозяина духи, мыло, украшения и ходила с лотком по окрестным селениям. Но однажды в какой-то деревне к ней пристал араб, и больше ее в такие пешие путешествия не отправляли. В Неве-Шаанан семья Шмуэля Давида провела полтора года и в 1924 году обосновалась в Акко. Юдит же в это время работала в Хайфе то домработницей в немецкой семье, то на папиросной фабрике, где клеила коробки. Потом она вернулась в Акко, поскольку отец в это время пытался обеспечить семье заработок при помощи собственного дела: он решил устроить производство по размолу кофе и пряностей. Население Акко, состоящее в большинстве своем из арабов, потребляло большое количество того и другого. Шмуэль Давид купил небольшую мельницу, Шаул, которому было тринадцать, крутил ее, кофе мололи, взвешивали, расфасовывали и т. д. В Акко царила хорошая атмосфера, местные арабы были настроены дружески, здесь жило некоторое число еврейских ашкеназских и сефардских семей, но доходы от мельницы оказались скудными — не исключено, что из-за непрактичности Шмуэля Давида. И семья отправилась в Хайфу. Юдит в это время уже начала жить отдельно от семьи. Она познакомилась с путешествовавшим по стране художником, который направлялся в Иерусалим. Ему было лет 25-27, и Шмуэль Давид разрешил старшей дочери присоеди-

ниться к нему, так как он вызывал доверие. Вместе с этим художником Юдит пришла в Иерусалим.

С 1923-1924 года жизнь Юдит входит в новое русло. В Иерусалиме она вступает в рабочую группу "Гдуд ха-Авода" и в составе ее то работает на кухне, то занята стиркой, то колет щебень. Тут, в "Гдуде", много молодежи, и кипит разнообразная жизнь, потому что у восемнадцатилетних хватает энергии на все — и на тяжелую работу под палящим солнцем, и на постановку любительских спектаклей — Юдит вступает в труппу "Огел" (палатка), которая ставит на иврите "Царь-Голод" Леонида Андреева и "На дне" Горького, — хватает энергии и на политическую деятельность. Юдит вступает в Коммунистическую партию Палестины. Эти две стороны тогдашней жизни Юдит — любительский театр и партия — становятся косвенными причинами, приведшими к знакомству моих будущих родителей: Яков увидел Юдит сначала из зрительного зала, а спустя недели две, когда он встретил ее в "Гдуде", оба сразу поняли, что их взаимная симпатия полностью согласуется с единством их партийного мировоззрения...

Вскоре они были вместе. Вот короткий рассказ моего отца о годах, проведенных им, его братьями и его женой Юдит в Палестине до момента отъезда в Советский Союз:

— Нашу первую субботу в Палестине мы провели у старшего брата Семы, который работал в Зихрон-Яакове в мошаве. Первым делом мы отправились к нему. Конечно, встреча наша была радостной. Во взаимных расспросах и рассказах о жизни в Одессе и тут, в Палестине, прошел этот день. Затем началась у нас новая жизнь.

Сема продолжал работать в сельском хозяйстве — в мошаве, а затем в киббуце "Шомер-ха-цаир" (теперь "Афиким"). А мы с Шурой вступили в "Гдуд ха-Авода" — в рабочий отряд, носивший имя Трумпельдора. Организация "Гдуд ха-Авода" представляла со-

бой полную коммуноу. Отделения этой рабочей организации имелись в разных местах Палестины. "Гдуд ха-Авода" имела чисто халуцианский характер, вне каких-либо политических симпатий. В качестве членов "Гдуда" мы с братом работали на стройках новых кварталов Хайфы, в Яхуде, где добывали и обжигали известковый камень. Потом работали на устройстве соляных полей в Атлите. Затем снова на стройках и каменоломнях, на прокладке шоссе. Я работал также арматурщиком на строительстве Хайфской электростанции Рутенберга.

Мы с братом Шурой не оказались в стороне от проблем социально-политических. Приехали мы в Палестину уже увлеченные идеей переделки мира эксплуатации в общество справедливого и всеобщего блага. И общественно-политическая деятельность захватывала нас все больше и больше. В Атлите, на соляных полях мы с братом и еще двумя ребятами, бывшими бойцами Конармии, организовали первую, а может быть и единственную в то время первомайскую демонстрацию рабочих, в которой участвовали и евреи, и арабы, и копты (они приезжали на заработки из Египта). Чуть позже я вступил в так называемую "фракцию" — в коммунистическую группу Гистадрута, а потом, в 1925 году, и в компартию. Жизнь была тесно связана с "Гдудом" и с партийными заданиями. И именно в "Гдуде" я встретил Юдит, ставшую моей женой. Я увидел ее в начале мая 1925 года в Тель-Авиве, где работал некоторое время, а потом в Хайфе. Туда Юдит переехала из Иерусалима и стала работать на Хайфской спичечной фабрике. Она тоже была в компартии и чуть позже переехала по заданию в Акко, чтобы поддерживать связь с заключенными в центральной тюрьме.

Наша работа велась подпольно. Администрация была английской, англичане-офицеры командовали полицейскими — арабами и евреями, и они все вместе воевали с нами, печатавшими и распространявшими листовки, устраивавшими забастовки и демонстрации. Жену арестовали однажды за организацию забастовки

на спичечной фабрике, меня как-то раз знакомые "грудники" с трудом спасли от расправы после того, как я бросил пачку листовок во время митинга в Хайфском технионе. В Хайфе же брат Шура должен был возглавить одну из первомайских демонстраций, но его арестовали еще до начала шествия, я занял его место, и мы прошли намеченный маршрут, не избежав, правда, столкновения с солдатами-ирландцами, преградившими нам дорогу. Спустя три месяца я руководил еще одной — антивоенной демонстрацией. Выступали мы обычно под лозунгом "Против английского империализма" и стремились к солидарности с арабами.

Мы вели жизнь интересную и насыщенную, полную труда и настоящей веры в то, что наша деятельность нужна, полезна и приближает справедливое будущее. Среди нас, единомышленников, царил дух товарищества и энтузиазма молодости. В "Гдуде" почти не случилось, чтобы кто-то отлынивал от работы. Каждый готов был пойти на самый трудный участок и, если приходилось идти на болото или дробить камни, на это шли с радостью, с желанием. Это было наше лучшее время. И однако получилось так, что мы уехали.

В 1927 году в Ленинграде умер мой отец. Мать осталась там одна. Мы с женой оба хотели учиться, но тогда в Палестине мы на это никак не могли рассчитывать. Мы решили поехать в СССР, получить там образование, а затем вернуться. Я подумывал одно время и о военной академии, считая, что в Палестине военные знания будут весьма полезны.

В 1928 году мы выехали.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ВРЕМЕНА ОТЦОВ ВНОВЬ РОССИЯ

Еще совсем наивным ребенком я задавал своим родителям вопрос: "А зачем вы поехали в Палестину?" Мама в ответ на него говорила, что ее, девочку-подростка, увезли к отцу, который бежал в Палестину от поляков. Это мне было понятно, хотя представить себе свою мать подростком удавалось с трудом... Папа мой говорил, что он и его братья считали, что им, детям из еврейской "интеллигентской", то есть не рабочей семьи, следует, как и вообще евреям, посвятить себя физическому труду, и чтобы этим трудом заняться, они и отправились в Палестину. Тут мне мало что было понятно: почему работать на каменоломнях нужно обязательно в Палестине, а не, например, в одесских катакомбах? Дополнительным аргументом к ответам родителей служило, правда, то, что там, в далекой Палестине, они были подпольщиками, как бы революционерами, боролись против буржуазного строя... Несколько позже, когда я уже подрастал и, становясь умнее, переставал думать одними лишь вложенными мне в голову понятиями, я узнал, что в каких-то партийных анкетах отец писал про свой отъезд в Палестину: "уехал под влиянием сионистской пропаганды". Хотя я не знал смысла этого словосочетания, я понимал,

что в нем звучит некое самоосуждение, признание своей ошибки. И на мои расспросы мне отвечали, что речь идет о неправильном мнении, в силу которого предполагалось, что евреи должны жить все вместе, отдельно от других народов. Разумеется, это выглядело полной глупостью: ведь живем же мы среди народов других — и живем в самом лучшем в мире, в самом передовом Советском Союзе, в стране, где социализм! Как же мои родители, такие умные, такие честные большевики, могли увлечься этой глупостью? Тут было какое-то противоречие, да к тому же я с ранних лет по интонациям, по манере говорить всегда интуитивно чувствовал, говорят ли мне правду, всю правду и только правду... Обычно было ощущение, что я узнаю далеко не всю правду.

С ответом на вопрос "а зачем вы вернулись в Советский Союз?" было много проще. Ответ напрашивался сам собой: "Мы вернулись, чтобы строить социализм". Я думаю, что этих слов достаточно было не только для ребенка, но и для самых высокопоставленных партийных чиновников. Конечно же, кому не хочется строить социализм в этой единственной стране победившей пролетарской революции? Ехали ведь со всего мира, и кому, как не моим умным, честным родителям-коммунистам следовало вернуться туда, где так нужны были руки для начавшихся сталинских пятилеток!.. Позднее, когда я сам стал совсем уже умным, в моем вопросе звучала сперва интонация тревожной неразрешимости (вдруг в ответе на "зачем вернулись?" откроется новый, скрытый смысл?); затем я спрашивал уже в вызывающем тоне ("зачем вернулись? — когда вокруг сажают?!"), а потом и с откровенной иронией: "Ну, а зачем вы все-таки сюда вернулись? Ах, социализм строить! — понятно, понятно..."

Теперь, если, наконец, говорится "правда, вся правда и только правда", то она заключается в ответе "вернуться на время, с тем, чтобы потом снова отправиться в Палестину"... Я далек от мысли утверждать,

что одна правда сменила другую. По-видимому, при различных обстоятельствах в свете сознания, в свете памяти и размышлений о прошлом один и тот же факт выступает своими разными сторонами. Ведь и когда меня сегодня спрашивают, почему я уехал из Советского Союза, и я отвечаю, что "уехал от советской власти", я говорю только некую часть правды, и в моем ответе этот факт предстает лишь одной своей гранью: на самом деле я уехал от многого, в том числе и от себя...

Я думаю, что в возвращении родителей в Россию тоже можно увидеть различные стороны. Вероятно, движение за возвращение в страну социализма, инспирированное Москвой через Третий интернационал, не могло не повлиять на молодых коммунистов. Желание быть вместе со строящим свое будущее пролетариатом не противоречило желанию учиться и совпадало с желанием быть вместе со стареющей овдовевшей родительницей. Ленинград тогда был еще почти столичным городом, и он оказывался хорошей точкой схода всех трех желаний. Ну, а Палестина? Как отъезд из нее выглядел в глазах остающихся? Тут все было просто. Друзья по компартии могли только приветствовать это решение. Каких-либо моральных обязательств перед семьей у Юдит не было: Шмуэль Давид и Эстер были еще сравнительно молоды, а их сыновья уже становились взрослыми. И к тому же оставался план на будущее: вернуться снова сюда, в Палестину, но уже с тем, чтобы применить здесь свои знания.

Не будем забывать, что Якову было только 25 лет, а Юдит 22 — возраст, когда хочется перемен и не в последнюю очередь "перемены мест".

Пароход привез их в Одессу, и в апреле 1928 года Яков и Юдит были уже в Ленинграде. Бабушка Лиза жила там в комнате коммунальной квартиры, и ее сын с женой поселились вместе с ней. Оба сразу стали искать работу. Яков довольно быстро нашел место на стройке, начав работать сперва как бетонщик, а затем перешел в арматурщики. Юдит была на вре-

менных работах — то билетером в цирке, то на конфетной фабрике, пока не поступила на завод резиновой продукции "Красный треугольник". Дела партийные устроились через Коминтерн: из комартии Палестины переправили документы, и мои будущие родители стали большевиками, причем палестинский стаж был им вписан в учетные карточки.

Яков скоро убедился, сколь наивно выглядели его мечты о военной академии. Когда он пришел туда узнавать о возможности поступления, на него посмотрели недоуменно: в такие учебные заведения направляли по специальным командировкам от предприятий или воинских частей, с рекомендациями от партийных органов (возможно, что нужен был и стаж службы в Красной армии и т. п.). Словом, об этом нечего было и думать. Хотел он пойти в Институт востоковедения и натолкнулся примерно на те же условия приема по командировке.

В том же году и Яков и Юдит благополучно прошли свою первую партийную "чистку". В эти времена принадлежность к заграничной компартии вызывала скорее уважение, чем подозрение: ведь люди прошли через подполье! Все окончилось хорошо даже при том, что в документах Якова указывалось, что его отец — бывший владелец магазина и издательства.

Главным событием ленинградского периода жизни Якова и Юдит было рождение (июль 1929 г.) их первого ребенка — моего старшего брата Марти, который, таким образом, открыл собою новое, пятое, если считать от Натана Рубина и дедов — его современников — поколение нашей семьи. Необычное имя Марти было данью тогдашней моде (это имя уже носил один из сыновей маминой тети Сары), и на выборе его сказались также память о прокоммунистическом восстании на французской эскадре в Одессе, чему Яков был свидетелем в юности. Когда спустя лет сорок старший сын принес своим родителям том Хемингуэя с романом "По ком звонит колокол", где Андре Марти выведен весьма отталкивающей личностью, на-

реченный в честь него мой брат сказал: "Вот что значит ставить живой памятник живому человеку!"

Мой брат, записанный во всех документах как родившийся в Ленинграде, был ленинградцем очень недолго. Отец, работая на стройке, простудился, заболел воспалением легких, и после того, как, не долечившись, он снова вышел на работу, врач обнаружил у него туберкулез в открытой форме. Сырой, холодный климат Ленинграда оказался противопоказан южанину, проведшему всю жизнь на берегах теплых морей, и врачи самым настоятельным образом велели немедленно сменить климат на более здоровый.

Оставив семью в Ленинграде, отец спустя два-три месяца после рождения первого сына поехал в Москву — город, не меньше, а то и больше Ленинграда пригодный для работы и учебы. В Москве он тоже устроился на одной из промышленных строек, которые в эти годы в крупных городах росли как грибы, затем позаботился об обмене ленинградского жилья на московское (он и по сей день корит себя: в маленькой комнатухе на Пироговке зимой по углам был лед), и вскоре жена с ребенком переехали к нему. Позже в небольшую каморку где-то под чердаком в старом домике на Мясницкой перебралась и бабушка Лиза.

Юдит устроилась работницей на завод "Каучук", а Якову довольно скоро, весной 1930 года представилась, наконец, возможность поступить учиться. Тогда нередко на учебу направляли рабочих в рамках специально организованной кампании. Объявлялось, что "партия направляет на учебу тысячу своих достойных членов", эту тысячу спешно набирали по предприятиям, стройкам и учреждениям, наскоро готовили к поступлению в вуз, и тысяча студентов-партийцев начинала учиться в тех институтах, куда их направляли — по специальностям, в которых испытывалась наиболее острая нужда. Отец попал не в "парттысячу", а в "профтысячу": профсоюзы не хотели отставать от партии (а вернее, это была та же кампания, но под не-

сколько иным лозунгом). После месячного курса подготовки прошедшие выпускные испытания — и Яков в их числе — перешли в Московское Высшее техническое училище имени Баумана (МВТУ) — в один из лучших инженерных вузов дореволюционной и после-революционной России. Отец хотел быть строителем или конструктором, но пришлось посчитаться с теми, кто ведал распределением: его направили изучать литейное дело. Как посланный в счет "профтысячи" и как член партии, он не имел права протестовать и требовать чего-то другого.

Хотя всю жизнь отец говорил своей жене "это ты сделала меня литейщиком" (он, по-видимому, не очень жаждал тогда оставлять работу — надо было кормить семью), этот упрек носил характер шутки: профессия отца определилась чьим-то кабинетным решением, и в дальнейшем тридцать лет он занимался почти исключительно технологией литейного производства (серый чугун) и оборудованием литейных цехов, став со временем одним из лучших в Москве, если не в Союзе, специалистов своего дела. Еще не окончив вуза, отец приступил к работе на Московском автозаводе — тогда имени Сталина, а сейчас имени Лихачева. Так как завод остро нуждался в инженерах-литейщиках, из МВТУ направили туда четырех студентов последнего курса. Надо думать, что послали тех, на кого можно было положиться как на перспективных работников. Рекомендовал эту четверку один из преподавателей, и рекомендовал он четырех евреев (Бернштейн, Коган, Рабинович, Розинер). Ни у преподавателя (он был русский), ни у директора Лихачева такой подбор, по-видимому, не вызвал каких-то особых мыслей: в те времена государственный антисемитизм себя не проявлял. Пятнадцать лет спустя такие наборы фамилий фигурировали лишь в погромных фельетонах...

На заводе имени Сталина отец проработал тридцать лет, пройдя путь от цехового технолога до заместителя начальника одного из крупнейших цехов (литейная серого чугуна) — на большие должности отца не пускали

его поразительная скромность, мягкость и деликатность в отношениях с людьми, — что никак не согласуется с качествами, нужными промышленному лидеру, но и, разумеется, палестинская молодость, буржуазное и еврейское происхождение мешали ему. С заводом в жизни отца, да и в жизни всей нашей семьи, было связано все. Честность, добросовестность и энтузиазм; понятие о смысле жизни как о труде и, в соответствии с этим, понятие о пользе (людям, стране и т. д.) как о чем-то святом и, я бы сказал, иррационально-значимом; принятая безоговорочно дисциплина трудовая и партийная (ее и нельзя было не принять, но в поколении отцов наиболее честные и идеалистические личности принимали эту почти военную дисциплину добровольно, как что-то естественное и единственно правильное); отказ почти полный от личных благ, сведенных к минимуму, — таковы были моральные предпосылки, на основе которых и сложился весь последующий профессиональный и, в сущности, весь жизненный путь моего отца Якова Розинера. Полный общественный идеализм, всегдашнее забвение собственных интересов при редкостной скромности и отсутствии всякого намека на индивидуализм приносили ему глубокую любовь и уважение одних и недоуменно-снисходительное отношение других. С таким характером он, как только что было сказано, провел на заводе всю жизнь с тем, чтобы в 1963 году, немедленно по достижении пенсионного возраста, распрощаться с "гигантом автоиндустрии" без всякого сожаления.

В 1931 году произошло значительное событие: в Москву приехал брат моего отца Александр (Шура), который за подпольную коммунистическую деятельность был выслан английскими властями из Палестины. Приехала и его жена Люба (Авива), и оба они поступили работать на строящийся подшипниковый завод (1-й ГПЗ). Там была острая нехватка кадров, и даже одно время на стройку подрядился цыганский табор со своими лошадьми и повозками. Эта нужда в рабочей силе послужила причиной того, что на завод на-

правляли многих и многих "палестинцев", возвращавшихся в Союз. Среди них было немало бывших членов "Гдуда", которые вернулись целой группой во главе со своим руководителем Элькингом. В Москву они ехали из Крыма, где делалась попытка создать еврейскую трудовую коммуну наподобие палестинской. (Ни мои родители, ни Шура к этой попытке отношения не имели, и я, к сожалению, не располагаю информацией об этом, по-видимому, интереснейшем эпизоде 20-х – 30-х годов).

Александр Розинер начал трудиться на заводе в качестве рабочего, однако скоро был выбран в заводской комитет профсоюза. Он стал заместителем председателя завкома по культурно-массовой работе – фигурой на заводе весьма заметной. И однажды, когда ему потребовалось улучшить положение дел в заводской школе для взрослых, он предложил жене своего брата перейти на ГПЗ. При этом посредством обмена удалось получить в доме напротив завода комнату в 9 метров, и Яков, Юдит и их трехгодовалый сын в 1932 году переехали на новое место жительства. К автозаводу это тоже было достаточно близко.

Проходит первая половина 30-х годов. Яков учится в институте. Юдит увлечена интересной работой на ниве просвещения – ее школа становится одной из лучших среди московских школ подобного типа; подрастает сын; растет дочь Майя и у Шуры; бабушка Лиза попеременно бывает в семьях своих живущих поблизости друг от друга сыновей и понемногу помогает ухаживать за внуками. А из Палестины приходит тяжелая весть: в 1933 году умирает оставшийся там Сема. Подробности его смерти стали известны только теперь, когда мой отец, приехав в Израиль, побеседовал с жившими здесь родственниками и побывал в киббуце "Афиким", где жил и скончался его брат. Рассказали и мне о моем дяде Семе (Шимоне) Розинере его бывшие товарищи по киббуцу Цви Офер и Арье Гвили. И они, и старожилы киббуца говорят о нем с теплотой и большим уважением. Он был едва ли не самым старшим по

возрасту среди молодых киббушников. Не слишком разговорчивый, он обычно смотрел со стороны на шумные веселья молодежи. Мой дядя был "первым трактористом" киббуца: когда приобрели трактор, именно Шимон освоил работу на нем. Причиной ранней смерти Шимона стало серьезное заболевание позвоночника. Он долго никому не говорил о болезни и не обращался к врачу — не хотел бросать работу, которая была для него святым делом. Все же Шимона положили в больницу, но спасти его не удалось. В киббуце до сих пор его помнят и говорят о нем как о человеке редких моральных качеств. В безмерном идеализме и стремлении отказывать себе во всем и он, и Яков были, видимо, схожи друг с другом. В киббуце рассказывают, что однажды обсуждался вопрос, можно ли было некоторым из членов киббуца предоставить отпуск в обстоятельствах, когда переживались тяжелые материальные трудности. Отпуск решили дать тем, кто уже несколько лет работал без отдыха, и Сема был в их числе. Однако он в течение отпускных дней выходил на работу и не согласился, чтобы заработанное выделили ему в личное пользование.

Из трех братьев Яков и Шура чувствовали друг с другом близость большую, чем с Семой. Отец не берется дать этому сколько-нибудь "рациональное" объяснение: просто так получалось с детства, что Сема был "старшим" по отношению к братьям, брал в какой-то степени покровительственный тон, и это, возможно, сказалось позже, когда все трое выросли. (Примерно то же я могу сказать и о своем старшем брате). Сема, судя по всему, не был "левым", как два других брата. Добавлю, что именно младший, Шура, был наиболее общительным — человеком, что называется, "с общественной жилкой".

В этой главе, в названии которой написано "Вновь Россия", приходится обращаться также и к тем, кто оставался в Палестине. В семье Юдит выросли уже и стали взрослыми четыре брата и сестра. Они учились и работали, они женились и давали жизнь своим

детям, но об их судьбах будет речь в своем месте, здесь же следует досказать историю их отца Шмуэля Давида Рабиновича.

Его сын Ирмияху делит жизнь отца на такие периоды: 5 лет — в Уречье; 14 лет — в Бобруйске; 15 лет — в Узлянах; 16 лет — в Палестине. И заключительный, палестинский период был не только самым длительным, но и самым трудным. После тяжелых первых лет в Кфар-Таворе, Хадере, Неве-Шаанане и Акко семья оказалась в Хайфе. Там тоже пришлось искать средства к существованию, и какое-то время Шмуэль Давид работает на фабрике по производству масла "Шемен". Однажды, когда он идет с фабрики домой, на него нападают арабы, он получает удар ножом, на помощь спешат члены Хаганы и выручают его. К счастью, рана оказалась неглубокой.

На фабрике "Шемен" происходит какое-то столкновение с начальством, дело доводится чуть ли ни до суда, и Шмуэль Давид бросает работу, даже не получив последней зарплаты. Одно время делается попытка держать киоск с содовой водой. Потом, в самом начале 30-х годов, Шмуэль Давид перебирается в Кфар-Саву. Там Ирмияху нашел для него место секретаря в сельскохозяйственном комитете. Но и это было недолгой и малоудачной работой. Шмуэль Давид устраивает небольшой магазин письменных принадлежностей и маленькую типографию. Поблизости от Кфар-Савы сыновья Ирмияху и Цви становятся членами мошава Ган-Хаим, работает и Шаул, и жизнь начинает налаживаться. Со временем Шмуэль Давид приобретает в Кфар-Саве 10 дунамов земли и предполагает разбить сад, доходами от которого могла бы жить семья. Это было время бурного развития долины Шарон, и возможно, купленная земля принесла бы немалую прибыль. Но за пять лет жизни Шмуэля Давида в Кфар-Саве у него дважды случается инфаркт. Он болеет, приходится лечиться. Это его последние годы, в течение которых он успевает увидеть только, как его дети начинают становиться на ноги. Сам же он, хотя и появлялись

уже друзья и связи с окружением, так и не нашел себя на земле, в которую стремился столь страстно, и, как выразился Ирмияху, жил здесь "со стороны". Он умер пятидесяти трех лет от роду в сентябре 1936 года.

В Москве у Юдит за две недели до смерти ее отца рождается второй сын, и между Москвой и Палестиной происходит обмен письмами: вести скорбная и радостная встречают друг друга где-то в пути...

В силу все той же, принятой в тридцатых годах "революционной традиции", родители и второму сыну дали имя в честь известной фигуры: я стал тезкой "рыцаря революции", чья благородная репутация несколько упала лишь спустя двадцать лет, когда был опубликован текст известного письма о "рукоприкладстве" Дзержинского, а позже, с раскрытием всего того, чем было жуткое его детище ЧК, имя его стало лишь символом террора и насилия. Но что делать! Вокруг меня было немало моих сверстников — Феликсов, и с полдесятка таковых живет сейчас здесь, в Израиле. Мне лично утешением служит то, что это латинского происхождения имя значит просто "счастливый". Теперь я думаю, что родители вряд ли дали бы мне это имя, если бы предполагали, что ведомство Дзержинского проявит интерес к нашей семье. Но жизнь в Советском Союзе всегда была таковой, что "человек предполагает, а ЧК (НКВД, МГБ, КГБ) располагает". Мне не исполнилось и года, когда лапа этого милого ведомства стала хватать всех, кто только попадался ей: шел 1937 год.

По Москве уже всю шли аресты, когда в конце этого года забрали Шуру, взяли его прямо на заводе. Среди "палестинцев", работавших там, он был взят из первых, но далеко не последним. С 1-го ГПЗ взяты были десятки людей. И в той квартире, где мы жили, арестовали, предварительно устроив обыск, соседа по фамилии Механик, а потом, чуть позже, и его жену Рохку Ежевскую. Оба они приехали с группой Элькинда. Сейчас, начав по моей просьбе перечислять арестованных, погибших и выживших, мои родители все удлиня-

ли и удлинняли список. В конце концов решили, что стоит записать в него все оставшиеся в памяти имена и фамилии бывших "палестинцев", добавив то, что известно об их судьбах. Список этот включает 60 человек.

Репрессивная акция властей была быстрой, всеохватывающей и опиралась на страх и на людскую глупость. Например, была такая Рохка Либлич, которая появлялась у нас дома еще даже в 60-х годах: в 1937 году она, руководствуясь "преданностью партии", написала показания на 12 листах, перечислив там множество людей. Без сомнения, она была благонамеренная дура. И в нужное время, в 70-х, эта глупая, больная, полуслепая старушонка, чей муж Яков Шафир был посажен в 37-м и вернулся спустя двадцать лет, чтобы тут же умереть, — выступала по саратовскому телевидению с осуждением сионистской страны, в которой когда-то жила... Среди евреев всегда было много идеалистов; но я готов добавить: и много глупцов, потому что достаточно много этих "честных" глупых партийцев-евреев навидался в окружении своих родителей.

Арестовывали прежде всего партийных и явно имевших в прошлом связи с "Гдудом". Так, были арестованы, например, неразлучные друзья-грудники, которых звали "три Яшки": уже упоминавшийся Яков Механик, Яков Львович и Яков Мучник. Судьбы Механика и Мучника остались неизвестными, а Львович в 50-х годах вернулся.

После ареста Шуры мать исключили из партии. Ясно было, что и с ней может произойти то же, что и с другими. Любопытно, что аресты шли именно на "Шарике" — на ГПЗ, тогда как на автозаводе, где работал отец, было сравнительно спокойно. Был там арестован один из "палестинцев", но, по-видимому, вне связи с "шариковской" акцией. Мой отец объясняет это различие в ситуациях разным уровнем "порядочности" людей, сидевших в партийных заводских комитетах, но трудно судить, так ли это было в действительности.

В школе мать уже не работала — после моего рождения она некоторое время замещала заведующую детским садом, что было удобно, так как у нее самой на руках был маленький ребенок. В январе 1938 года с этим вот малышом, то есть со мной, мама и гуляла во дворе, когда к ней подошли три человека и предложили подняться домой — на пятый этаж ради "необходимости побеседовать". Она, конечно, поняла, кто эти люди и зачем они пришли, но до последней минуты не показывала виду, что боится или что не поверила им, когда те сказали, будто надо поехать на беседу "часа на два". Нужно было покормить детей, на кухне стояло для них горячее молоко, но главный из трех — это был следователь, двое других оказались понятными, — сказал, что покормит детей соседка, "да ведь вы скоро вернетесь"... Соседка Лида, молодая русская женщина, не имевшая своих и, может быть, потому любившая детей Юдит и Якова, тоже все поняла: ведь это был уже третий арест в квартире. Она уверила Юдит, что все будет в порядке. Мать переоделась в теплое платье и опять же, делая вид, что не догадывается об аресте, не взяла ничего, даже зубную щетку. Меж тем младший сын Феликс впервые в своей жизни вступил в контакт с властями: какой-то флажок был у него в руке, и наивный мальчик-с-пальчик подошел к людоеду и сказал, привлекая внимание к своей красивой игрушке: "Дядя, флажок!" Дядя не скушал мальчика и даже не отобрал у него флажок, он только увез от мальчика маму, которую годовалый ребенок стал забывать...

Происшедшее с моей матерью выглядит сегодня, когда мы знаем о том, что происходило в те годы в ГУЛАГ'е, просто фантастически благополучным. Ее не били, не пытали, ей не устраивали "конвейера", не морили голодом и жаждой и не помещали в карцеры. Возможно, что все это прошел брат отца Шура. Доподлинно известно, что его в застенках мучили. Дважды ему удалось дать знать о себе: один раз пришла записка, выброшенная из "воронка" посреди Москвы,

другой раз — из поезда, увозившего его в Сибирь. Туда он не доехал, умерев по дороге спустя лишь несколько месяцев после ареста. Его вторая дочь Елена родилась в мае 1938 года уже после смерти отца... А Юдит, которую допросили сначала в райисполкоме, отвезли в Бутырскую тюрьму и более или менее оставили в покое, вызывая иногда на не слишком страшные допросы. От нее добивались ответа на вопрос, "кому она служила". Особый интерес проявлял следователь все к тому же "Гдуду". Требовалось охарактеризовать "политическое лицо" этой организации, особенно было желательно сделать "Гдуд" сионистским. Юдит отвечала, что она была рядовым членом "Гдуда" и о политике "Гдуда" ничего не знала. Кроме того, она именно в "Гдуде" вступила в компартию и занималась коммунистической политикой. Очень интересовались одним из гдудников по фамилии Московецкий. Мать его почти не знала, ей же говорили, что этого не может быть, так как сам Московецкий дал на нее подобные показания. (Мои родители знали его брата, имевшего кличку "Ицхаки", который был в Палестине в руководстве молодежного крыла партии. По возвращении в Союз Ицхаки не прошел партийную чистку, и это его спасло: его не сажали. Он хорошо знал арабский и имел какое-то отношение к пропаганде и связям с арабами. Я его как-то раз или два видел. Несколько лет назад он умер в Москве.)

Когда мать забрали, отец был на работе. Сначала он ждал, что ее действительно отпустят, убедившись в необоснованности ее ареста. Но скоро начал настойчивые поиски жены, обходя одно за другим все известные московские места заключения. В справочной на Лубянке ответа не дали. В тюрьме на Матросской Тишине сказали лишь: "Под следствием!" — но не сказали, где именно. Всюду отец видел толпы в сотни, в тысячи людей, добивавшихся того же, что и он. На Лубянке толпу разгоняла милиция, на Матросской Тишине какое-то огромное, складского типа, помещение разгородили вдоль на узкие длинные заго-



р. Натан Рубин



р. Авраам Аарон Пешин (Песин)



Авраам Аарон Фельдман ("дед Арке")



Хана Фейга



'Бабушка бабушки Лизы' (Хана Зайдеман?)



Иехошуа Арье (Шая Лейба) Розинер. 1899 г.



Шмуэль Давид Рабинович



Эстер Рабинович (Фельдман)



Вульф (Владимир) Розинер. 1898 г.



Лиза Розинер (Кейле Лея Бронтих)



"Деды-воины":

Канонир 1-й гренадерской Генерал-Фельдмаршала графа Брюса артиллерийской бригады Вульф Розинер с братом Лазарем. 1894 г.

Солдат 12 роты 114 пехотного Новоторжского полка Шмуэль Рабинович

ВЪ
ПАМЯТЬ
ВОЕННОЙ
СЛУЖБЫ

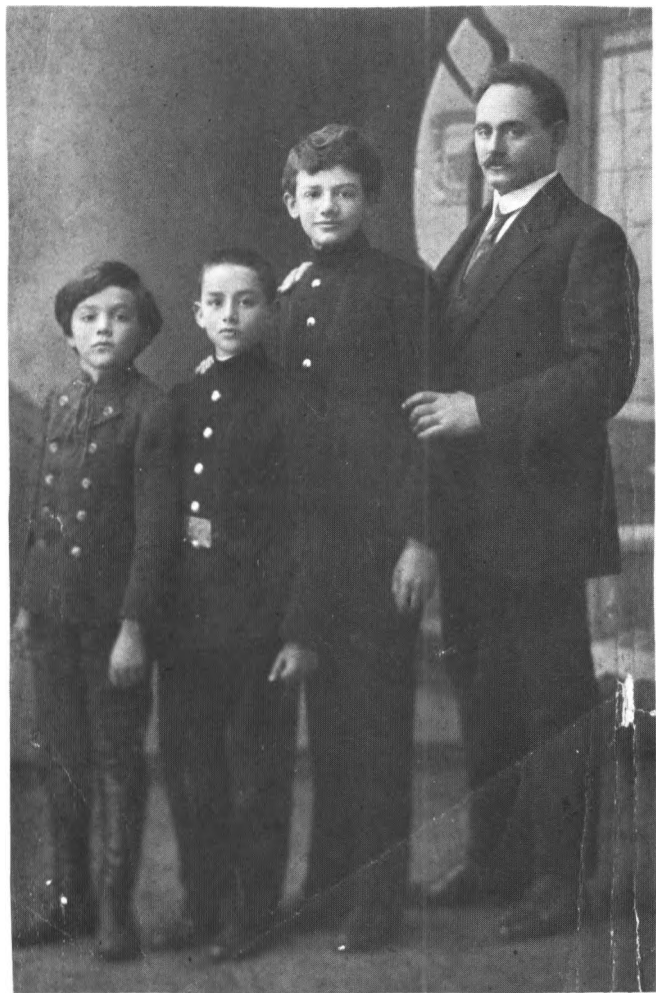




*Братя Розинер (слева направо) – Шура, Сема, Яша.
Одесса, 1911 г.*



Шмуэль Давид и Эстер Рабинович с детьми (слева направо) Шаулом, Ирмияху, Юдит и Цви-Гиршем. Узляны, 1913 г.



*Вульф Розинер с сыновьями Семой, Яшей и Шурой.
Одесса, 1915 г.*



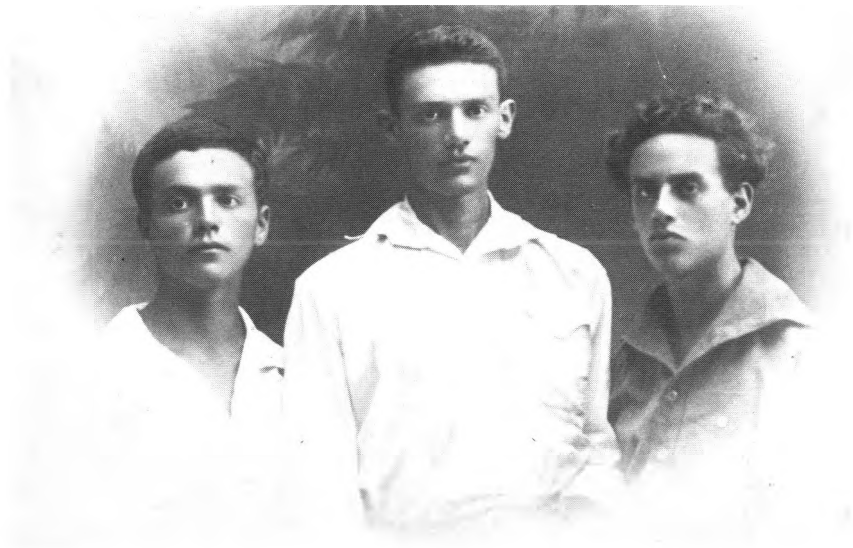
*Эстер Рабинович с детьми перед отъездом к мужу
в Палестину. 1922 г.*



Мужчины местечка Узляны



Женщины местечка Узляны



*Братья Розинер (в один из первых дней после встречи
в Палестине). 1923 г.*



Халуцы-гдудники: Юдит Рабинович с братьями Яшей и Шурой Розинер. Палестина, 1925 г.



*Шмуэль Давид Рабинович в последние годы жизни.
Палестина, 193..?*



Эстер Рабинович с детьми и внуками. Фото, отправленное семьей Рабина из Палестины в Москву семье Розинер в 1946 г.



Юдит и Яков Розинер. Москва, конец 40-х годов.



В московской квартире Якова и Юдит Розинер перед отъездом внука в Израиль. Яков, Юдит, Владимир, Феликс, Татьяна Розинер.



В квартире Якова и Юдит Розинер в Рамат-Гане спустя пять лет после возвращения в Израиль. Слева направо: Юдит и Яков, Шаул, Ирмияху с женой Ривкой, Цви, Зрубавел с женой Тхией, Офира – жена Цви, Элишева с мужем Меиром и их родственником Иосефом. Лето 1982 г.

ны, через которые пропускали извивающуюся людскую змею. Был способ, далеко не надежный, находить арестованных, принося в тюрьму передачу в расчете на то, что ее примут, и тогда это окажется верным знаком, что человек находится здесь. На Таганке у отца передачу не приняли, а в Бутырках принесенные им 50 рублей взяли. Это было важной информацией и для сидевшей там матери: она поняла, что муж на свободе. Отец же, беря иногда меня на руки, стал добиваться приема у прокурора московского военного округа, от которого, по слухам, зависело ведение дела. Отец писал одно за другим заявления о невиновности жены, ходил еженедельно в приемную, пока секретарь прокурора — женщина в чине капитана не сказала: "Что вы ходите без конца? Только ребенка мучаете!" — "Разве я мучаю?" — спросил отец. — "Давайте заявление. Приходите через две недели, устраю вам прием". Она не обманула: отца принял прокурор, полковник. Как помнит отец, это был еврей — тогда евреи на подобных должностях еще бывали. Отец стал говорить ему, что жена не может быть виновна ни в чем, что он знает каждый ее шаг, что она такой же коммунист, как и он, и т. п. На все прокурор отвечал лишь одно: "Разберемся".

Неизвестно, имела ли настойчивость отца какое-то значение. Неизвестно также, почему его самого не забрали, если были арестованы его брат и затем жена. Вероятно, по его заводу не было такого "плана" арестов, как на ГПЗ, а может быть, людоед не стал хватать того, кто сам приходил в его логово... Следователь, который допрашивал мать, говорил ей: "Ваш все ходит, добивается..." И этот жрец советской Немезиды тоже был еврейского племени. Он задавал все те же вопросы о "Гдуде", называл имена, но мать, как она рассказывает, чаще всего говорила, что ничего предосудительного об этих людях не знает, что соответствовало правде. Следователь и не был особенно настойчив. Четыре месяца он ее даже не вызывал. В целом его по-

ведение было таково, что он либо выжидал чего-то, либо сознательно тянул.

Условия в Бутырках были сравнительно сносными. Одно время мать спала в большой камере даже на кровати с простыней и одеялом. Только потом стали переводить из камеры в камеру с нарами в два этажа. В самом начале, когда ее только привели, к ней посадили двух проституток. Но дальше вокруг была публика более высокого, даже высочайшего пошиба — все больше жены арестованных партийцев, дипломатических работников и военачальников. Сидела с ней и жена учившегося в МОПШКе Сергея Троцкого — Женя Рубинштейн, которая страшно страдала из-за своего ребенка: маленькую дочку взял к себе дед, отец Жени, который от нее, от собственной дочери, отрекся. Были там же и женщины-харбинки; одна пострадавшая за свою религию христианка; две гречанки; женщина, доказывавшая всем, что она жена Сталина, а также еще одна помешанная, пытавшаяся покончить с собой, вогнав себе в живот иглу. Но коммунистки-интеллигентки, и среди них моя мать, держались своим кружком. Практически все они были еврейками, все безоговорочно верили в чистоту партии, и каждая считала, что посажена ошибочно. Вот трагическая сцена, которая сегодня вызывает недоумение, тогда же действительно выглядела как душераздирающая: приводят латышку в роскошной беличьей шубе — жену одного из крупнейших военачальников, только что ей сообщили, что она арестована и что ее муж — враг народа, и вот она всю ночь сидит в своей роскошной шубе посреди камеры и повторяет как заведенная: "Неужели он изменник?! Неужели он изменник?! Неужели он..." Готовы были поверить в виновность самых близких людей, как эта латышка; готовы были поверить в ошибку, как моя мать и мой отец; но мало кто из этих верующих — или доверчивых, не знаю, как сказать, — коммунистов понимал, что по стране идет настоящий разгул террора...

В конце зимы наступившего 1939 года, то есть уже после годичного заключения, мать перевели в Таганскую тюрьму. Проведенные там два месяца она вспоминает с ужасом: тут уж была камера "по всем правилам" — с голым холодным полом, на котором довелось ей спать около самой параша, с доносившимися из-за дверей криками истязаемых. Это было время после того уже, как сняли и расстреляли Ежова. Какой-то поворот в политике террора позволил некоторому числу арестованных обрести свободу. На Таганке мать вызвали на допрос лишь однажды ночью. У отца приняли первую на этом новом месте передачу, а когда он пришел со второй, ее не взяли, сказав, что не нужно: "будет дома".

Матери объявили, что она освобождается в связи с прекращением дела. Она вышла за тюремные ворота, купила две плитки шоколада и села в трамвай. Было утро 21 марта 1939 года. В трамвае ее увидела одесская еще знакомая бабушки Лизы: знакомая ехала проведать бабушку, нянчившую своих внуков. С общением, что Юдит вернулась, она первая и вошла в комнату.

Здесь произошла сцена, которая на мою мать произвела неизгладимое впечатление и которая, как я подзреваю, наложила на меня такую же неизгладимую вину: мой старший брат кинулся к маме, я же испугался, заревел, бросился к соседке и не хотел слезать с ее рук. "Это же мама!" — попытался объяснить мне мой брат. Я то ли не поверил, то ли не понял, то ли не слушал его. Эта сцена мне рассказывалась и прежде, вновь рассказала ее мне мама и теперь. Конечно, я вел себя постыдно. И то, что в моем поведении НКВД, разлучившее меня в годовалом возрасте с мамой, тоже несколько виновато, ничуть меня не оправдывает! Заявляю об этом со всей прямоотой!

Нехорошо повел себя и мой отец. Мама, взяв с собой брата, подъехала к заводу и позвонила из проходной отцу, который занят был по горло делами с отладкой новой продукции. Все в его отделе, относившиеся

к его несчастью с сочувствием (начальство без возражений разрешало ему уходить с работы ради всяких хлопот по поводу ареста жены), услышали, как выдержанный, всегда спокойный Яков Розинер вдруг крикнул в телефон: "Юдя!!!" Все поняли, что происходит. Он было немедленно побежал к проходной, но начальник посмотрел на него умоляюще... "Хорошо, я сейчас вернусь", — обещал Яков. И вот у заводской проходной, совсем как в фильмах, снятых по законам соцреализма, он встретил свою жену и после еще одной незабываемой сцены, описывать которую я здесь не берусь, Яков Розинер вернулся на работу, — опять-таки совсем по законам соцреализма. С той только разницей, что соцреализм приукрашивает действительность, характер же моего отца приукрашивать и не надо было: если бы все строители социализма были такими же, как он, то, хотя я и не знаю, был бы при этом строй именно социализмом, но то, что он был бы "с человеческим лицом", — убежден вполне. А мать и сегодня говорит про поведение мужа — "позор!" Словом, мы тогда оба вели себя недостойно...

Через два дня случилось с отцом происшествие, в котором ему пришлось проявить свой нестандартный характер. Стоя около формовочной машины, он провёл по верхней поверхности станка большим пальцем правой руки, объясняя, что из-за скопившейся грязи происходят неполадки в процессе, как вдруг рабочий включил агрегат. Мгновенно палец с огромной силой зажал между двумя стальными плоскостями. Рабочий растерялся. Свободной рукой отец смог сам выключить станок. Вид пальца был страшен: его расплющило в кровавую лепешку. Врач заводской поликлиники, только взглянув на него, сразу же крикнула, чтобы быстро готовили операционную, — палец следовало удалить как можно скорее. Но отец запротестовал: он сказал, что жена не перенесет случившегося, и поэтому он не даёт согласия на ампутацию. Уговорить его врач не смогла. Тогда она, обработав рану, прямо ножницами срезая куски мяса и кожи, кое-

как "привела в порядок" раздробленный на двенадцать частей палец и забинтовала его. Отцу было велено ежедневно являться на проверку, не началась ли гангрена. И в сопровождении одного из сослуживцев он отправился домой. Там забинтованный палец был объяснен как нечто совершенно незначительное. Единственным, чего отец не мог скрыть, была его бледность. Жена предложила ему прилечь, и он — удивительное дело! — согласился. Палец удалось спасти, и я в детстве очень любил рассматривать его — негнувшийся, с гофрированным толстым ногтем.

Когда ближе к осени в цехе начался выпуск нового изделия, туда пришел сам товарищ директор и, говоря в адрес отца всякие хорошие слова, добавил, что надо приказом по заводу объявить ему благодарность и дать денежную премию. "Не нужна ему премия, дайте ему лучше комнату", — сказал начальник цеха. И вот ведь какие добрые люди — дали под великий праздник октября 1939 года нам комнату! — 24 метра на семью из четырех человек в квартире с двумя соседями, и это было невиданной роскошью!

Были и иные радости в том же году: родителей восстановили в партии. Отец был исключен вскоре после ареста жены: он пошел к секретарю цехового комитета и, как положено, доложил о случившемся. Надо отдать должное этому человеку (его фамилия Крестьянинов, и сейчас он крупный партийно-профсоюзный деятель, если только не отправлен на пенсию): он положил бумаги отца в стол и тянул с исключением сколько мог. Он также не захотел отстранить отца от руководства кружком по изучению истории партии, однако еще одна особа (опять еврейка!) была очень напугана тем, что партпросвещением ведает такая подозрительная личность, как муж арестованной женщины, к нему на занятия зачастили всякие комиссии, и он попросил об освобождении. Бдительную особу скоро саму посадили... При исключении на отца кричали в городском комитете партии за то, что он и тут попытался защитить свою жену. Но в связи с

кампанией по борьбе "с огульным исключением из партии", уже после окончания ежовщины, те же люди одним махом отменили свое решение — до следующего исключения...

Шли последние предвоенные годы. Из тех времен я уже кое-что запомнил совсем хорошо. Например, дачу под Москвой на станции Удельная. Дачу эту — большую, в два этажа, на прекрасном, поросшем соснами большом участке — построили мамины тетки во главе с Сарой. Сара, хотя живший в Москве Шломо Хаим был старше ее, являлась как бы главой всех бобруйско-узлянских родственников: как-никак она окончила Институт Красной профессуры, стала кандидатом экономических наук и чуть ли не заведовала кафедрой в одном из московских вузов. Она была правоверной партийкой во все времена и во всех ситуациях, и никакие опалы, в которые попадала она, ни арест сестры Меры (просидела пять лет, вернулась в Москву лишь в хрущевские времена), не говоря уж об аресте племянницы Юдит ("ошибка"!), — не могли сбить ее с пути верного служения партии. Другие ее сестры были от политики много дальше. Фаня стала хорошим научным работником в области фармакологии, самая старшая — Нехамма, та, кто побывала в Палестине и затем в Америке, а к концу 30-х годов вернулась в Союз с мужем-американцем, вела самый обыкновенный образ жизни, преподавая английский и служа где-то, так же и Песя, которая тоже была обычной совслужащей. Любопытная подробность: ни у одной из сестер моего деда не было мужей-евреев. Фанин муж был латыш (партийный работник — секретарь московского райкома), у остальных мужья были русскими. Странной личностью был Сарин супруг. Он происходил чуть ли не из крестьян рязанской губернии. Свои русские имя и фамилию он сменил на р-р-рев-волюционные — то есть на европейский манер, что вроде бы не говорило о его большом уме. Похоже, однако, что он был умнее своей жены: занимавший какие-то высокие должности

(кажется, был цензором!), он вдруг сделался больным, получил персональную пенсию и много лет почти безвылазно сидел дома, не показываясь на люди. Мою признательность и добрую память он заслужил вот чем: когда в 1953 году родителям снова грозил арест, и они ездили к Саре за советом, что следует делать в этой ситуации, ее муж, слушая благонамеренные разговоры типа "должны разобраться" и т. п., твердо и мрачно повторял одно и то же: "Все они сволочи!" — чем приводил Сару в смущение. Тогда так откровенно в нашем окружении еще никто не выражался, и эта фраза произвела на меня сильнейшее впечатление: я принял ее как самую краткую историю партии. Я с удовольствием цитировал ее тем из друзей, кому можно было довериться.

Интересно, что дача, выстроенная Сарой при участии сестер и являвшаяся не чем иным, как крупной, будем прямо говорить, частной собственностью, никак не противоречила партийно-экономическим взглядам хозяйки-марксистки! Все собственнические переживания, связанные с дачей, какие-то глухие семейные трения, доходы от дачников, — все это имело место, и когда я стал постарше, бывать в этом гнездышке маминых родственников стало не очень приятно. Но надо сказать, что возможность жить там — сразу после освобождения мамы из тюрьмы, и потом, уже в послевоенное время, когда я вдруг в двенадцать лет серьезно и надолго заболел, — для нашей семьи имела, вероятно, какое-то значение, так что я не берусь судить о даче и ее обитателях слишком строго.

На этой даче нас застала война. Хотя мне не было пяти, я отлично помню атмосферу воскресного дня 22 июня 1941 года: помню тишину в поселке, помню встревоженного отца в белой рубашке, стоящего у соседского забора, из-за которого доносилась речь Молотова. Потом начались ночные бомбежки. На участке вырыли бомбоубежище, и раза два во время тревог мы спускались в него. Осколки зенитных снарядов стучали по шиферной крыше. На чердаке поставили бочку с

водой и снесли туда много-много старых чулок, набитых песком. Помню я и воздушные тревоги уже в Москве, когда мы тоже спускались в подвал, а отец, если не дежурил на заводе, поднимался на крышу. Раза два ночевали мы в метро, в туннеле, подложив подстилку прямо на рельсы.

Отец, конечно же, сделал попытку пойти на фронт добровольцем. Его не пустили. В августе матери, как бывшей работнице ГПЗ и состоящей там на партийном учете, предложили эвакуироваться вместе с заводом. Эвакуированных отправляли пароходом "Моссовет", стоявшим в Южной гавани, то есть сравнительно недалеко от завода. Видимо, из-за близости расстояния и из-за нехватки транспорта за нами прислали не машину, а телегу с лошадью, и это было столь необычно, что я прекрасно запомнил, как, дребезжа, гнала наша телега по булыжной мостовой. К пристани мы подлетели в последнюю минуту, отец успел лишь втащить в трюм, где нам предстояло плыть, пару узлов, сбежал по сходням на пирс, и пароход зашлепал допотопными колесами. Мы долго стояли на палубе, следя за отцом, который шел по берегу и непрерывно махал нам кепкой. Потом мой брат много раз рисовал — на учебниках, на тетрадках и в письмах отцу его силуэт: маленькая шагающая фигурка с поднятой рукой, в которой зажата кепка — совсем как в скульптурах изображают Ленина...

В Горьком мы пересели на другой пароход и приплыли в Куйбышев. Там "вакуираные" (так в произношении простого люда звучало "эвакуированные") разместились в казармах, только что оставленных ушедшими на фронт солдатами. Рядом были плохо охраняемые военные склады, и мальчишки таскали оттуда много полезных и бесполезных вещей. У нас, например, водились ружейные приклады, была пара телеграфных ключей, а также хорошие щетки, которыми мы еще лет двадцать пользовались для натирки полов. Комнат в казармах не было: огромный корпус делился на большие отсеки, без дверей, открытой сто-

роной обращенные к центральному проходу, и в каждом из отсеков жило чуть ли не по десятку семей, отгораживавшихся друг от друга занавесками, простынями — кто чем мог. Мать пошла работать, брат ходил в школу, а меня отдали в детский сад.

Как известно, 16 октября 1941 года пустая, брошенная своими правителями на произвол судьбы Москва лежала "тепленькая" перед немецкой армией, которая по чьей-то военной тупости не решилась занять беззащитный город. Что тогда происходило в Москве, еще, по-видимому, никем не описано сколько-нибудь правдиво и полно. Отцу в этот день на заводе было предложено вместе с группой сослуживцев немедленно выехать на восток и направиться в Шадринск, куда вывезли часть заводского оборудования. Еще до окончания рабочего дня отец поехал к своей матери — бабушке Лизе, жившей на Мясницкой. Она уезжать наотрез отказалась. Сын напомнил ей о том, что делают немцы с евреями, — она и слушать не хотела об этих пропагандистских, как она думала, рассказах. От матери он пошел в Козицкий переулок к Саре — в ее многоквартирном доме все как будто вымерло: жильцы покинули его. Отец вернулся на завод, но охрана не хотела пускать его за ворота: завод, по сути дела, уже не был таковым. Цехи остановились, рабочие, как стало потом известно, растаскивали продукты из заводской столовой. Где-то в один из этих дней всем было сказано прийти ко Дворцу культуры и получить расчет, дело там дошло до настоящего бунта, потому что рабочих просто-напросто оставляли ни с чем — без работы, без продуктовых карточек, в полном неведении относительно даже ближайшего будущего. Примерно то же происходило по всей Москве... Отец нашел все-таки у завода группу своих, вот-вот собиравшихся отъезжать на машинах. С ними он смог попасть к директору завода Лихачеву, которого начал просить, чтобы его оставили в Москве. Тот ничего не стал слушать и велел немедленно выписать и выдать деньги. Отцу удалось забежать домой, он взял в рюк-

зак попавшиеся под руку вещи, отдал ключ соседу, вернулся к своим, и машина поехала.

Добрались они до Горького, а затем до Ульяновска, где уже развертывался филиал завода. От Ульяновска следовало ехать дальше, в Зауралье, к Шадринску, но отцу разрешили забрать из Куйбышева семью. В конце октября отец появился у нас. Быстро собрались — при этом потрясенный родитель обнаружил и велел немедленно выбросить из ящиков (кстати, это были ящики из-под ружей, и они у нас были потом еще много лет) целый оружейный арсенал, — погрузились в теплушку, где кроме нас было еще две семьи, — и медленно, с долгими остановками стали продвигаться все дальше и дальше на восток. Целый месяц длилось это путешествие — для взрослых утомительное и тяжелое, а для нас, детей, необычайно увлекательное, полное неожиданных впечатлений и каждодневной, ежечасной новизны. Где-то у Златоуста пересекли Уральский хребет и попали в Азию, в дороге встретили и новый, 1942 год. Когда же добрались до Шадринска, выяснилось, что отца ждало предписание отправиться в Миасс — город, ехать в который следовало обратно — из Курганской области в Челябинскую. Снова — теплушка и стук колес. Наконец, привозят наш вагончик в чистое поле, отцепляют и оставляют среди ночной темноты, снегов и мороза... Станции тут еще не существовало. Но это место звалось "Новостройка" — тут начинали строить один из филиалов автозавода.

Поселились мы потом на станции, в избе у какой-то старухи. Однажды ночью я проснулся и увидел ее стоящей на коленях совсем неподалеку от меня: в неверном свете синего огонечка она быстро-быстро проделывала что-то рукой у груди и перед лицом, кланялась и шептала. Было таинственно и жутковато: как потом мне объяснили, бабка "верила в Бога".

Затем устроились мы жить в самом городе, а позже нас переселили на ту же самую Новостройку, где для работников завода построили бараки. В бараке мы и жили больше года — мама, брат и я, потому что

отца в апреле 1942 года отозвали обратно в Москву: там, едва немцы были оттеснены на запад, стали восстанавливать производство, и подготовленный к тому, чтобы быть взорванным, завод вновь оживал. Дважды отец чуть было не отправился на фронт — заводское начальство решительно противилось этому, и он дни и ночи проводил на заводе.

Наша жизнь в Миассе была трудной, голодной, то есть такой, как у многих в годы войны. У меня началась дистрофия, опухали и стали кровоточить десны. От авитаминоза меня спасли посредством квашеной капусты, ведро которой матери выписали на заводе. И еще мне давали пить горячий настой из сосновой хвои. Мать работала в какой-то странной должности "заведующей газированной водой": воду эту давали работникам "горячих цехов" (кузница, прессовый и литейные) для компенсации обезвоживания организма, мать, вероятно, и ведала снабжением и распределением газировки.

Вокруг Новостройки росли глухие, потрясающие по своей красоте леса, покрывавшие сплошным ковром окрестные горы. Этот великолепный пейзаж у меня всегда стоял перед глазами, и много раз мне хотелось вновь побывать в тех местах. Однако среди величественной природы текла тяжкая, грубая и временами страшная жизнь. Сюда везли из жаркой Средней Азии узбеков, туркмен и казахов, которые всю жизнь занимались хлопком или дынями, и гнали на завод, к станкам и машинам, которых они боялись, как дьявола, и они, несчастные, голодные, с ужасом в глазах, тряслись от холода, потому что, не имевшие понятия о сибирских зимах, оказывались они здесь в одних раскрытых на груди, лишь перевязанных поясами халатах. Их звали кличкой "бабай" (они без конца повторяли "бабай, бабай" — "товарищ"), их ненавидели и презирали, потому что они были грязны и потому что испражнялись на виду у всех. Шестилетний ребенок смотрел на них и стыдился — то ли того, что видит, то ли самого себя. Вероятно, уже тогда зародилось во

мне ощущение несправедливости мироустройства и того, что люди бывают жестоки, равнодушны и просто страшны. И если бы я писал "о военном детстве" — тема, столь распространенная сейчас у нынешнего поколения советских писателей (при том, что истинная правда почти не говорится), — я мог бы написать книгу, по объему превосходящую эту. Здесь же я только хочу подчеркнуть, что именно с этих военных лет я стал ощущать себя отдельной, самостоятельно чувствующей личностью, и, собственно, с этих лет и начинается история моего поколения. Мой брат, который на семь лет старше меня, вряд ли может отнести назад на эти семь лет начало своего внутреннего формирования: оно, это начало, и у него должно было прийтись на годы войны — настолько эти годы сравнивали всех в своей ломке, что не разница в годах, а лишь разница в возможности осмыслить и пережить и оставить в памяти определяла тогда развитие личности. Шести-семилетний малыш, я запомнил тогда очень многое, и потом, когда я становился старше, я то и дело обращался к памяти о тех годах как к кладовой, к сокровищнице, где хранился жизненный опыт, воспользоваться которым я мог и пять, и десять, и двадцать пять лет спустя. И если в будущем мое писательское Я не изменит мне — наверняка вернусь к тем годам.

В Миассе мы прожили до осени 1943 года, когда за нами приехал отец, чтобы забрать нас в Москву. Снова долго-долго ехали в теплушке, загруженной автомобильными моторами, и нас, детей, на остановках, когда кому-то доводилось заглянуть в вагон, прятали за вещами, так как возить детей в вагонах с грузом запрещалось. Это путешествие тоже длилось сравнительно долго, по дороге уже выпадал снег, и не терпелось скорее добраться до Москвы, но настроение у всех было приподнятым: мы все вместе, и мы едем домой!

Вновь квартира, почти позабытая, довоенных соседей сменили другие. Отношения с ними вежливо-нейтральные, переходящие то в совсем милые, то раздражающиеся скандалами. Только тот, кто жил в "ком-

муналках”, поймет, почему из-за непогашенного в уборной света или поставленной не на ту конфорку кастрюли рвутся дипломатические отношения и начинается кухонное сражение: жизнь в скученности, на виду друг у друга почти неизбежно ведет к такого рода эксцессам. И не только в том дело, что в трех комнатах жило три семьи, — нервы сдавали и потому, что в каждой комнате родители должны были жить вместе со взрослыми детьми, уже заводившими свои семьи...

Мы с братом стали ходить в школу — он в седьмой, а я в первый класс. На лето меня отправляли в пионерские лагеря, где я тосковал и маялся в окружении обычно глупых, жестоких или просто чуждых мне детей. Бывало, что у меня выясняли, не еврей ли я, и, отвечая утвердительно, я всякий раз недоумевал, почему это всех так интересует? Однажды в лагере сказал мне со злобой не то “еврей”, не то “жид” толстый Женька Колотилин, живший в нашем дворе. Папаша Колотилин был на заводе некоторой шишкой. Я, что называется, “треснул” Женьку в ответ, после чего пионерский отряд организованно, но не очень сильно меня избил. В стороне стоял Юрка Трахтенберг, мой сосед с девятого этажа (мы жили на восьмом), занявший нейтральную позицию по отношению к происходящему и потом всеми силами, жалко и гадко, пытавшийся вести себя так, будто ничего не произошло. В течение многих лет моя мама выясняла, почему я не хочу дружить с Юркой (с его мамой она была в очень милых отношениях) и почему я не встречаюсь с Колотилиным. И хотя я, помнится, рассказал эту противную историю, мама, видимо, тоже хотела представить дело так, будто ничего не произошло: ведь я был только ребенком!..

Еще за год до окончания войны, в апреле 1944 года, в доме для престарелых в ста километрах от Москвы скончалась бабушка Лиза. Отец поместил ее туда, больницу, перед отъездом к нам на Урал. Телеграмму о ее смерти взял из рук почтальона я, и я же передал ее вечером родителям. Впервые я тогда попытался понять,

что такое смерть, — задача непосильная для семилетнего ума. Помню, что я внутренне долго винил родителей за то, что мы так и не видели бабушку после приезда в Москву. Потом ходили к ней в комнатку на Мясницкой (ул. Кирова), откуда принесли огромный том "Фауста" в роскошном марксовском издании in folio. Книга эта долгие годы лежала у нас на отдельном столике.

Несколько лет после окончания войны, примерно 1946—1949, были, пожалуй, наилучшими в положении нашей семьи. Отец, приобретший большой опыт в литейном деле, пользовался как специалист большим авторитетом, его приглашали в различные организации в качестве консультанта, он работал по совместительству в одном из научно-исследовательских институтов машиностроения, предполагалась работа над диссертацией, и он даже начал сдавать необходимые экзамены. Эти годы у него был сравнительно большой заработок, а до 1948 года, пока я не заболел, работала и мать: она после возвращения из эвакуации поступила вновь на ГПЗ в тот же завком, где когда-то работал дядя Шура, и занялась помощью многодетным, инвалидам и семьям фронтовиков. Эта работа, на которой приходилось постоянно общаться с людьми и разрешать различные сложные "психологические" ситуации — успокаивая, уговаривая и вселяя надежду, — была матери по душе, поскольку, в противоположность отцу, она всегда была по натуре "общественницей". Словом, жизнь, которая после тягот войны и первых послевоенных лет стала налаживаться, была, что называется, вполне нормальной. Правда, случались временами события, несколько омрачавшие горизонт семейного бытия. Например, группа заводских инженеров должна была ехать в Америку знакомиться с тамошним литейным оборудованием, и кому, как не "академику" — так звал отца Лихачев — было ехать, но ехали другие, а не он; составляли список на представление к Сталинской премии — отца из него исключали; представ-

ляли его также к ордену — дали вместо ордена значок "отличника министерства"...

Летом 1948 года на даче в Удельной я видел полно-го, с гривой седых волос на крупной голове человека, который то не спеша прогуливался, то стоял с кем-нибудь и беседовал. Это был живший на нашей улице поэт Лев Квитко. О нем я знал, что он сочинил знаменитое детское стихотворение, которое в свое время все мы зубрили в садиках: "Климу Ворошилову письмо я написал: — Товарищ Ворошилов, народный комиссар!..." Тем же летом на даче обсуждалась смерть Михоэзса. Помнится, из рук в руки переходила брошюрка еврейского издательства "Дер Эмес", посвященная этому скорбному событию. А позже я узнал, что человека со львиной головой арестовали...

Взрослые вели какие-то маловразумительные разгово-ры, состоявшие из полунамеков, слухов и предполо-жений. Зазвучавшее в ушах слово "забрали" было чем-то абстрактным, оно как будто ничем не привязы-валось к повседневности, и вроде бы никак не могло относиться к нашей жизни. О том, что в свое время и над нашей семьей прошелестело это слово "забрали", никто никогда не упоминал: то, что моя мать провела около двух лет в тюрьме, я узнал лишь с наступлением времен послесталинских, а про дядю Шуру говорилось просто, что он умер, как говорилось это и про дядю Сему. От нас, детей, скрывали очень многое и скрывали бы больше, если бы мы не жили все в одной комна-те и волей-неволей не становились свидетелями тре-вожных разговоров вполголоса. Прибегала сверху со-седка, и у нее с мамой начиналось обсуждение послед-них событий на заводе. Говорили, боясь, что услышат за дверь, боясь уже всего на свете, в том числе и того, что и дети узнают больше, чем нужно, и, не дай Бог, скажут где-то не то, что нужно. Шел 1950 год. Стало известно, что арестован отец моего приятеля, соседа по дому Фимки Шлайна. Отец его был заместителем на-чальника кузнечного цеха. Моя мама велела мне в квартиру к Шлайнам больше не ходить, "иначе нам бу-

дут крупные неприятности”. Мог ли я желать неприятностей своим родителям? И я перестал бывать у Фимки. Скоро вся их большая семья расселилась по родственникам, мать, кажется, была сослана или, может быть, поехала ближе к мужу — не знаю точно. Фимку я иногда видел, так как он учился в техникуме ГПЗ, а потом там же и работал. И чем дальше, чем яснее становилось происходящее, тем больший стыд я испытывал из-за того, что, по сути дела, предал, бросил своего приятеля в тяжелую минуту. Тогда я был еще непроснувшимся подростком, послушаться родительского запрета не мог, как и не мог осмыслить, что в этой ситуации вызывает у меня нехорошее чувство. Лишь потом я понял, как смешались здесь ложь и страх и сколь отвратительна эта смесь. К сожалению, позже, когда я знал и понимал уже все, я Фимку не встречал. Однажды, спустя лет пятнадцать, он вдруг позвонил мне на работу, разыскав меня после того, как прочитал одну из моих книг. Но наша встреча так и не состоялась: произошла какая-то путаница с телефонами, я ему не дозвонился, и он тоже больше не дал знать о себе. До этого я как-то два раза случайно встретил его младшую сестру. Совсем ребенок в наши школьные годы, она превратилась в милую внешне, скромную девушку. А судьба старшей сестры Фимки — настоящей красавицы — дала мне повод написать большой эпизод в моем романе “Некто Финкельмайер”...

Этот 1950 год принес несчастье многим и многим семьям руководящих заводских работников. Была проведена быстрая “массированная” акция по чистке заводских кадров от евреев, которых было немало и в управлении завода и на крупных инженерных должностях. По словам отца, арестовано было более пятидесяти человек. Среди них наиболее крупными фигурами являлись главный конструктор завода Фитерман, помощник директора Эйдинов, который был правой рукой Лихачева, заместитель главного металлурга Коган, заместитель директора по строительству Шмаглит, главный врач, начальник отдела рабочего

снабжения — и так далее, ниже и ниже по должностям, от руководителей цехов и отделов до рядовых инженеров-технологов. Акция совершилась в течение одного-двух месяцев. Одновременно снят был со своей должности секретарь Пролетарского райкома партии Левыкин — бывший раньше на заводе и работавший даже под началом отца. Сняли и директора завода Лихачева. Обвинили их в потере бдительности и в засорении кадров. Рассказывали потом, что Лихачеву при экзекуции где-то в высших сферах ЦК бросили в лицо, кого, мол, ты набрал к себе на завод? Лихачев, который не привык стесняться в выражениях, якобы со злостью отпарировал: "Я принимал на работу по головам, а не по хуям!"

Толком никто не знал, в чем обвиняются арестованные. Ходили самые разнообразные слухи, передававшиеся полусшепотом среди евреев (наша соседка-нееврейка говорила об арестах громко): "Конечно, разговоры о подготовке взрыва на заводе явно провокационные... но вот Голда Меир... говорят, с ней встречались... Вы знаете, Михозлс тоже... Собирали какие-то деньги... Она была в синагоге и... Еврейский комитет... Связь с границей..." Примерно так звучали эти слухи. Более точной информацией никто не располагал. Наверное, и не стояло ничего реального за этими разговорами. Но 8-10 человек по обвинению в диверсионной деятельности тогда же расстреляли: Эйдинова, Лисовича (начальник планового отдела), главного врача и начальника рабочего снабжения, чьих фамилий мои родители не помнят, и других, которых тоже вспомнить не удалось. Остальные из полусотни через пять-шесть лет вернулись — многие сломленные физически и морально. Один из них на вопрос отца, в чем же заключалось обвинение, только махнул рукой: "А, полная чушь! Каждому предъявляли свое, и шили все — от сказанного кому-то слова до диверсионной деятельности".

Повезло тем, кого не арестовали, а только снимали с руководящих должностей и перевели на рядовые.

Каков тут был принцип выбора, сказать невозможно. Скорее всего, и принципа не было, — как у слепого дракона: махнул хвостом, кого убил, кого искалечил, а кого только сбил с ног или вовсе не задел. Отца дракон перекинул из заместителей начальника крупнейшего на заводе цеха на место обыкновенного инженера, и сегодня можно только благодарить судьбу, что тогда этим обошлось.

Прошло два года — все более и более тревожных, и вот обрушилась публикация сообщения о деле врачей. Атмосфера была столь жуткой, что, казалось, скоро станет и дышать невозможно. И в это время, в феврале 1953 года за родителей взялись всерьез: выплыли на свет Палестина, Израиль, родственники за границей.

Конечно, в эти годы переписка и связь с родными, жившими в Израиле, была полностью прекращена. Вероятно, продолжалась она лишь в течение двух-трех послевоенных лет, в 1946—1948 годах. Были иногда письма, две посылки, одна, помнится, с продуктами, другая с вещами, прислали нам фотографии всей семьи во главе с бабушкой Эстер, а дальше все прекратилось. Ни мы о них ничего не знали, ни они о нас. Но партия помнит! И кому-то понадобилось сделать "дело" на том, что Яков Владимирович Розинер и Юдифь Самойловна Рабинович скрыли от партии свое сионистское прошлое и скрыли свою связь с родственниками в Израиле. В партийных организациях — в цехе у отца и во Дворце культуры завода, где была на партийном учете неработавшая мать, — устраиваются собрания, в повестку дня которых включается вопрос "Персональное дело имярек..." По словам, оброненным секретарем парторганизации цеха, получалось, что инициатива шла откуда-то сверху, из райкома, а может быть, и из более высоких инстанций. Когда оказалось, что отец ничего не скрывал, что все "прошлое" записано в документах, то на резонный вопрос отца, откуда же известно о родственниках жены, если не от него самого, секретарь сказал: "Это правда, но это не

имеет значения. Мы *должны* его исключить”, — и сказано это было с нажимом, смысл которого всем был ясен. Какие-то наиболее ретивые пытались добавить собственные “картинки”: якобы Розинер был членом группы из трех человек, — “видели, как они собирались и обсуждали линию поведения после разоблачения группы врачей”. Голосование было единогласным. Но один человек, с которым отец проработал бок о бок долгие годы, однако особенно близок не был, еще до голосования поднялся и демонстративно ушел с собрания. Фамилия его была Милюков. Мы знали его семью, у них была дочь — ровесница моего брата. Потом я задумывался: Милюков — русский, а был бы в таких же отношениях с отцом еврей — решился бы он так же честно и смело поступить? Вопрос риторический, и на него нет ответа, потому что честность и смелость там, в Союзе, столь были редки, что доставались людям случайно, вне национальной статистики... Кстати, интересная подробность нашего семейного бытия, о которой в то время и не приходило в голову задуматься: если перечислить тех, с кем у отца оставались связи еще с институтских времен, тех, с кем он был наиболее близок из сослуживцев, или тех, кто приходил к нам в дом по-соседски, — все они окажутся евреями, равно как и мамины знакомые женщины по ее прежней работе или по всяким делам во Дворце культуры. Так, вероятно, складывалось само собой, и тут уж статистика была однозначной.

Одновременно с отцом исключили из партии и мать, устроив ей предварительный шестичасовой допрос у “партследователя” (я и не слышал прежде, что есть у партии такие монстры), который требовал доскональных показаний о том, кем был отец матери, как он уехал в Палестину, как она уехала в Палестину, зачем вернулась, почему остальные остались, за что мать посадили и почему выпустили...

Исключение утверждали в райкоме, куда обоих вызвали вместе, и там опять выясняли, с какой группой приехали в Союз, и спрашивали про “контррево-

люционную скаутскую организацию” и т. д. Потом дело пошло в МГК — в Московский городской комитет партии.

Именно в это время, в феврале 1953 года, родители ждали ареста. Рвали бумаги и фотографии. Каждая ночь могла оказаться прерванной стуком в дверь. Соседи знали о происходящем, симпатичный ”дядь-Саша” — шофер заводской автоколонны возбужденно говорил отцу на кухне: ”Яков Владимирович, это что же такое происходит на заводе?” Отец отвечал ему спокойно в том смысле, что все идет своим чередом, все работают. Тот возбуждался еще больше: ”Вы не понимаете, что ли? Ведь вы сидите на пороховой бочке! Только спичку поднести!” А его жена, приходя с улицы, то ли с удовольствием, то ли с ужасом передавала: ”Что говорят, что говорят! В роддоме врачи детям раковые прививки делают!..”

В эти дни, по сути дела, состоялось мое ”гражданское рождение”: шестнадцатилетний юноша понял, что живет в окружении лжи, лицемерия, подлости и страха и что ему придется самому искать, никому, даже родителям не доверяясь, есть ли правда в этом мире и в чем она заключается...

Смерть Сталина была спасением для огромной страны, для евреев и, в частности, для нашей семьи. Сначала поняли только, что в дни похорон не до арестов. Но сначала еще не поняли — не знали еще, каков был Сталин, и впервые у нас в комнате на письменном столике оказался портрет почившего великого вождя, минутой похорон которого мы трое — мать, брат и я (отец был на заводе) — простояли в скорбном молчании. За три дня до этого я чуть не был задушен на Трубной площади среди толпы, стремившейся к гробу почившего божества... И вдруг спустя какой-нибудь месяц, уже после публикации сообщения об отмене дела врачей, я увидел, как мать вытаскивает Сталина из-за стеклянной рамки. ”Почему?” — с недоумением спросил я. Мать все еще не хотела развращать чистую душу ребенка: ”Есть сведения... было не все в поряд-

ке...” И большего я так и не узнал тогда. (И много позже родители пытались не говорить мне правду. Однажды я услышал оброненное матерью ”когда арестовали Шуру”. Оставшись с нею наедине, я спросил, что это значит? Разве дядя Шура не ”просто умер”? — ”Конечно! Ты ослышался, тебе показалось! Я ничего подобного не говорила!” — отвечала мне мать. Из лучших, разумеется, побуждений...)

Меж тем, рассматривавший дело родителей МГК решил, что, хотя факты не подтверждают вины исключаемых, полностью отменять постановления более низких организаций не следует, и вместо исключения постановили ограничиться строгими выговорами. И столь благополучно все и закончилось. Остается добавить, что позже отцу много раз предлагали подать заявление о снятии выговора: это будет чистая формальность, говорили ему, все же знают, что тогда творилось, что этот выговор ошибочен. Мой мягкий отец в вопросах, касавшихся честности, совести и достоинства, всегда стоял как скала, и даже мама знала, что в подобных случаях его ничто не сдвинет с места: ”Ошибочен? — отвечал он. — А кто допустил ошибку? Я или вы? Вот вы и снимайте выговор. Я никаких заявлений подавать не буду”. Этот выговор был у него и в тот момент, когда перед отъездом в Израиль он пришел в райком сдать свой партбилет.

В целом же, то, что произошло в начале 50-х годов, резко сказалось на материальном положении семьи из четырех человек, в которой работал только отец, имевший должность рядового инженера. Правда, в 1953 году брат закончил институт и уехал из Москвы по распределению. И некоторое время было так, что отец с его двадцатилетним стажем крупного специалиста и брат, едва-едва делавший первые профессиональные шаги, получали зарплату примерно одного размера. Когда я в том же 1953 году стал учиться в институте, то старался тянуть на отлично, чтобы получить надбавку к мизерной стипендии. Потом мать получила небольшую пенсию по инвалидности. К концу 50-х — началу 60-х

годов отец, занимавшийся проектами по реконструкции завода (так парадоксально, далеко за серединой трудовой дороги, сбылась его мечта о конструкторской работе), был переведен на более высокие должности — до руководителя группы и сектора. Но и сыновья его — старший, который вернулся в Москву, и младший, кончивший институт в 1958-м, тоже стали руководителями групп и ведущими инженерами...

Все эти годы мы жили надеждами, что завод, наконец, даст нам квартиру. Боже мой, сколько раз эти надежды возникали, сколько раз начинались хождения по инстанциям, сколько раз мать советовала отцу: "Пойди, поговори..." Он не умел "ходить" и не умел "говорить", умел только работать — умел спокойно, без принятой повсюду показухи, делать свое дело. А таких всегда оставляют в тени. И только через пять лет после моей женитьбы, когда вот-вот должен был родиться сын, завод сделал, наконец, жест: мы получили — на пятерых — квартирку в печально-знаменитом "лагутенковском доме", где площадь двух комнаток и части коридора составляла 26 метров — на два больше, чем в одной оставленной нами!

Переселились в новый район, далеко от завода, куда отец полтора года ездил на битком набитых автобусах. Как раз тогда объявили о разрешении кооперативного строительства. Отец записался, и когда был готов дом (сравнительно недалеко от нас), родители переселились в него.

С ухода отца на пенсию в 1963 году и до отъезда моих родителей в Израиль прошло пятнадцать лет. У матери здоровье все более ухудшалось, и отец посвятил ей все свои силы и все свое время. Росли внуки, которых дедушки и бабушки любят, как говорят в известной шутке, потому, что они, доставляя своим родителям хлопоты, тревоги и заботы, становятся "мстителями" за прошлые заботы дедушек и бабушек. И то, что их любимый "мститель" — мой сын Володя и его отец — их сын Феликс решили уехать из Союза, было причиной того, что поехали и они. Надо сказать,

что родители далеко не сразу и весьма не легко решились на этот шаг, хотя в течение нескольких лет, с того момента, как началась нынешняя алия, мамина семья настойчиво звала нас к себе.

И вот старшая дочь Шмуэля Давида Рабиновича снова встречается со своими братьями и сестрой после разлуки длиной более чем в полвека!.. Задолго до этого, в 1965 году, в весьма преклонном возрасте (87 лет) скончалась их мать — Эстер Рабинович. В семье была традиция собираться у нее перед началом субботы. Теперь же все братья и сестры в продолжение этой традиции собираются у Юдит. Представители более младшего поколения появляются там редко, однако мы с женой составляем исключение: мы бываем там еженедельно, потому что ездим навещать родителей, да к тому же кто не знает, что общение с родственниками-старожилами — лучший способ абсорбироваться в стране!

Вот и сегодня, когда я пишу эти строки, мы едем к родителям в Рамат-Ган. Опять я услышу, что редко бываю у них; что ничего не говорю им о себе и о своих делах; что я слишком занят собой; и что любой серьезный вопрос превращаю в шутку. В общем, жизнь продолжается.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

СОВРЕМЕННОСТЬ

Я думаю, что, с возмущением говоря о моей склонности превращать все серьезное в шутку, моя дорогая матушка не так-то уж далека от истины. Еще в первых классах школы учителя еженедельно записывали мне в дневник одну и ту же фразу: "Смеялся и разговаривал на уроках". Позже какая-то полуулыбка, невольно появлявшаяся в углах моего рта в самые неподходящие минуты, раздражающе действовала на всяких официальных лиц, с которыми приходилось иметь дело, и мне не раз осуждающе говорили: "Вот вы все улыбаетесь, когда на самом деле..."

Верно. Я все улыбаюсь, когда на самом деле... Но ведь это чисто еврейская черта, и от кого, как не от предков я ее получил?

Поэтому и сейчас, при завершении своего труда, меня тянет на шутку. "Поколение — это я!" — хочется мне здесь провозгласить. Потому что кому же, если не мне самому, быть представителем своего — пятого, если считать от прапрадедов, — поколения нашей семьи? Кто лучше знает — ну, хотя бы одного индивидуума из моих сверстников, — чем я знаю себя? Да если бы кто-то и знал, смог бы рассказать мне кто-то другой о ком-то третьем го, что могу я сам рассказать о себе?

Волей-неволей получается так, что, стремясь хотя бы немного рассказать о ныне вошедшем в средний возраст поколении, мне придется рассказывать о себе — кратко, но достоверно, и снова перейти от шутки "поколение — это я" к полной серьезности. Склонность обратная — превращать шутку в серьезное, как я замечал, мне тоже свойственна...

Кто-то, — если я не ошибаюсь, Иммануил Кант — сказал, что одно из грустных обстоятельств человеческого бытия заключается в невозможности где-то в середине жизненного пути полностью переменить свой род занятий и начать вести совершенно иной образ жизни. Каким бы верным это заключение ни было, я не могу приложить его к себе: уже достигнув тридцатилетнего возраста ("Земную жизнь пройдя до половины" — по Данте), я сменил все — и профессию, и дом, и страну — став жить совсем по-иному, чем, казалось бы, предопределено мне было всем предшествующим. Должен сказать, что, не являясь типичным, мой случай все же и далеко не единственный. Вокруг меня в Москве было довольно много сверстников из среды интеллигенции, и в большинстве — евреи или "половины", кто точно так же, как и я, менял устоявшуюся жизнь на иную, обычно менее определенную в смысле получения житейских благ, но зато более активную, независимую и интересную. Поясню, в чем тут, на мой взгляд, дело.

Наши родители сложились в среде и прожили жизнь, на которых лежал отпечаток очень простой, но тем и привлекательной идеологии: труд, направленный на производство материального продукта, есть благородная цель, да и сам смысл жизни. Наши родители учились и затем шли на заводы, фабрики и в научные учреждения не ради заработка, не ради престижа, не ради приобретения каких-то благ: они шли трудиться — трудиться, в сущности, ради самого труда. Они могли отказывать себе во всем, жить в тесном жилье, носить десятилетиями один и тот же пиджак, спать на железных кроватях, не бывать на курортах и не развлекать-

ся вечерами, — они могли все это не столько потому, что от них этого хотела советская власть, отлично умевшая паразитировать на идеалистах, но прежде всего потому, что они *жили работой*, и для них было естественно отдавать работе вечерние и даже ночные часы, отдавать ей всего себя. За этим стояла уверенность, что все это идет на пользу людям, что обилие автомобилей, комбайнов, угля или стали неизбежно приведет ко всеобщему благополучию. И они работали.

Я и мои сверстники — я говорю о честных и достаточно мыслящих сверстниках — выросли, воспитанные приблизительно в том же духе. Но лет с шестнадцати — двадцати мы знали уже о лжи, пронизывавшей всю советскую систему, и в самостоятельную жизнь мы входили без должной уверенности в правоте всего того, что в нас вложили.

Однако тогда мы были слишком юны и слишком "интеллигентны" для протеста, а общество еще держало нас в своих тисках. Вот мой любопытный пример: меня с детства тянуло к искусству, и, в частности, к музыке, но мне и в голову не приходило воспользоваться многочисленными рекомендациями своих учителей идти на один из гуманитарных факультетов или в консерваторию: я уважал лишь "серьезную" профессию инженера, заниматься искусствами, убежденно повторял я слова родителей, можно и нужно "для себя", а кроме того, я же видел, какой пародией на настоящее искусство было все то, чем занимались профессиональные литераторы, композиторы и художники 40-х — начала 50-х годов.

Но жизнь менялась. Все более разлагающийся режим стал обнаруживать бессмыслицу "трудового служения" ему. Коррупция и материальное расслоение сделали заметным то, что всегда существовало в скрытом виде: именно "рядовые труженики", служившие на производстве и в государственных проектных и научных учреждениях, были оттеснены от "общественного пирога", все сладкие и крупные куски которого доставались аппаратчикам, высокому начальству и ката-

строфически разросшемуся слою дельцов-спекулянтов, перекупщиков, жуликов и т.п. И это происходило одновременно с тем, как, начиная с 1953—1956 годов, шел процесс все большего и большего осмысления сущности строя, под властью которого все мы жили и которому служили. Этот процесс естественно сочетался с ростом понимания самозначимости собственной жизни — не как пресловутого "винтика" в страшной государственной машине, а как некой единственной, неповторимой данности. Реализовать эту данность — вот что стало поначалу целью и смыслом нового поколения, еще не понимающего толком, что в условиях советского режима это безумно трудно, почти невозможно. Возникшая в тех условиях тяга к реализации личности повела к появлению (начало 50-х — начало 60-х годов) новых склонностей у молодежи, выражавшихся в обилии стихов и "самодеятельных" песен; в тяге к "турпоходам" и дружескому общению в компаниях за столом; в романтическом отношении к профессиям, дававшим внешнюю или внутреннюю (интеллектуальную) свободу — к профессиям геолога, журналиста, физика, хирурга... Мы хотели думать, говорить, писать, выступать с эстрад. Но многие из нас уже начинали вращаться в ту инерционную среду технической и научной интеллигенции, из которой мы вышли. Одни там, в этой среде и оставались — или подчиняясь ей, превращаясь в обыкновенных "технарей", или изнутри меняя, все более "очеловечивая" ее лицо; другие, как я и многие ставшие моими коллегами по профессиональному искусству, почувствовали, что не можем и не должны противостоять проснувшейся в нас тяге к самовыражению в творчестве, и стали поэтами, писателями, художниками, кинорежиссерами и актерами; третьи шли в "шабашники" (кочующие строительные бригады), в дворники, в сторожа, в гробокопатели, — лишь бы не быть под бдительным оком начальства и своры надзирателей из тайных стукачей и явных секретчиков. Я бы сказал, что из нас сформировалась новая советская интеллигенция, принесшая

России как заметный прогресс в искусстве и культуре, сказавшийся впервые после конца 20-х годов, так и общественные течения, выразившиеся в диссидентстве, в развитии и распространении "самиздата", в религиозных движениях, в борьбе за гражданские права и, в частности, за право на выезд в Израиль. Евреев и полуевреев в этой новой советской интеллигенции был и остается относительно большой процент. Воспитанные на дрожжах общественного идеализма, представители этого слоя моих сверстников не могут и не хотят жить бездуховной жизнью — то есть той, какая единственно и возможна в России, если не желаешь оказаться в конфликте с властями.

Как мне представляется, и личная жизнь у многих из нас оказалась в зависимости от этих внутренних духовных изменений. Мы выросли в обществе и в обстановке, где частная жизнь была строго регламентирована условиями стесненного бытия на виду друг у друга и соседей по квартире. Мы учились в школах с раздельным обучением, где исключалось естественное развитие отношений между юношами и девушками. И многие из нас, выйдя за пределы школы, не только слишком рано женились, но и женились, мало зная о всех сторонах семейных и брачных отношений. Когда же мы становились старше, то многие из нас вместе с духовным перерождением обнаруживали, что пришли к крушению установившихся семейных связей. Мы немало постигли сами, на собственной шкуре, но постигали это немалое слишком поздно и часто в трагической ломке судеб.

Я не буду здесь подробно говорить о том, как мое поколение — и здесь я имею в виду евреев прежде всего, — в течение последнего десятилетия шло к еще одному из поворотов в своей судьбе — к отъезду из России. Об этом многие писали и говорили. Но не следует забывать, что и этот процесс, захвативший уже сотни тысяч самых разных по культуре и воспитанию людей в среде думающей интеллигенции, питается теми соками и традициями общественного идеализма, который

был нами получен в наследство от наших отцов. Сколь бы мы, отцы и дети, ни были разными, сколь много упреков ни высказывали мы в адрес отцов, говоря об их слепоте и наивности, — нельзя не видеть, что их благородная честность и самоотверженность были и остались непреходящими ценностями, перед которыми нельзя не преклониться и не воспринять которые было бы настоящим самопредательством.

Все это я изложил здесь для того, во-первых, чтобы показать, в каких условиях моя натура сформировалась, и чтобы, во-вторых, стали в некоторой степени ясны внутренние причины конкретных событий моей предшествующей биографии, изложить которую самым кратким образом я здесь и намереваюсь.

То, что я родился в 1936 году, в 1943-м пошел в школу и в 1953-м ее окончил, уже упоминалось выше. Год окончания школы был годом смерти Сталина (у входа в мою школу в день кончины "волка" я услышал, как один десятилетний мальчишка говорил другому: "Со Сталиным мы Гитлера побили — а теперь, без Сталина, нужно всех евреев перебить"). Когда я весной сдавал выпускные экзамены, заметных перемен в антиеврейской политике еще не было. Три человека из нашего класса были претендентами на золотые медали, из них двое — евреи: Давид Цельник, круглый отличник все десять школьных лет, и я, учившийся, однако, далеко не столь блистательно. И ему и мне много позже, чем остальным, объявили, что у нас по письменной литературе — оценки "четыре" (высшая, как известно, "пять"). У меня якобы была неправильна цитата из Маяковского, но когда я принес в школу грудку сборников стихов поэта разных изданий, причина сниженной оценки стала другой: "грязно написал". Давид не получил пятерку из-за того, что слово *нэп* написал в кавычках... В результате нам дали серебряные медали, что тоже было неплохо.

Я подал на приборостроительный факультет Гсодзического института. В то время это был очень престижный факультет, и вместе со мной на него пытались

попасть немало медалистов, которые тогда имели право поступления в институт вне конкурса, лишь после краткого и обычно формального собеседования. Евреев, которых было очень и очень много среди медалистов, оставили под конец собеседования и всем по разным причинам сказали "нет". Не забуду поразительной красоты еврейскую девочку с явно гениальными математическими способностями (она мгновенно решала сложнейшие задачи), которую на факультет не взяли. Мне дали уравнение, решить которое я не смог. Придя вечером к Давиду, я показал уравнение его отцу-математику. Он определил, что уравнение неразрешимо, и что его не имели права мне предлагать. На следующий день я пришел в институт с протестом. Мне устроили еще одно собеседование — по черчению. Оно прошло прекрасно, и преподаватель написал: "знания в объеме двух семестров вуза, пространственное воображение блестящее", но на комиссии директор зачитал, что оно "отсутствует". Я пытался вырвать листок, который он зачитывал, у него из рук — меня выгнали из кабинета.

Потом я пошел в Автомеханический. Потом в Станкоинструментальный. Кое-куда мы ходили вместе с Давидом, которого не взяли в МВТУ им. Баумана. Было, что нам говорили по телефону "да, да, с серебряной медалью? — конечно, приходите", — а когда мы приходили, то, взглянув на наши бумаги, отвечали, что мест уже нет. Тогда мы снова шли к уличному телефону и, изменив голоса, звонили снова, и снова нам отвечали "да, да, приходите..."

В результате я попал на факультет полиграфмашин Полиграфического института: там был директор (Попов), который брал евреев. И там нас было очень и очень много — не попавших в университет, в МВТУ, инженерно-физический и другие лучшие вузы. Но и наш был не плох. Там учились способные еврейские ребята, определявшие веселый интеллектуальный дух студенчества. На художественном факультете читались интереснейшие курсы истории искусств, графи-

ки, оформления книги, были прекрасные лекторы, водившие нас в музей, и моя тяга к искусствам нашла там хорошую почву. В студенческие годы я играл в симфоническом оркестре Дома Ученых и год ходил в консерваторию, где был вольнослушателем по классу скрипки. Учился неплохо и лез во многие общественные дела. Была деятельность и тайная: в те годы был я членом "подпольной группы", изучавшей ситуацию в стране под извечным вопросом "что делать?". Как ни странно, почти все в этой группе были евреями; как ни странно, не оказалось среди нас стукачей, никого из нас не посадили, и сейчас почти все мы выехали из Союза.

В 1956 году я слушал в институте доклад Хрущева съезду о культе Сталина. После 1953 года это была вторая ступенька в моем независимом развитии. Осенью слушал английское радио: события в Венгрии показали, что насилие и ложь остаются тем же знаменем режима, что и в сталинское время. Узнавали мы то о новочеркасской забастовке, то о волнениях на московских заводах. Словом, я умнел.

За год до окончания института я женился на Людмиле Эпштейн, с которой учился и был в нежной дружбе с первого курса. При окончании института декан, возненавидевший нас обоих за то, что мы не захотели консультироваться у него свои дипломные проекты, отомстил нам: хотя я и получил диплом с отличием и имел право при распределении на работу выбирать одно из лучших мест, нас послали в Сибирь, на Север. Мы не поехали, и после многих сложностей стали работать в Москве.

Около пяти лет я проработал в конструкторском бюро, где быстро стал довольно неплохим специалистом и дошел до должности руководителя группы. Там работали симпатичные люди, но однажды вновь пришедший начальник — убежденный черносотенец хулиганского пошиба — решил разогнать, как он выражался, "эту синагогу". И действительно, разогнал. Я ушел в Акустический институт Академии Наук

СССР, куда меня взяли по чьему-то недосмотру: евреи туда практически не попадали.

Чуть раньше, в марте 1962 года, у нас с Людмилой родился сын Владимир.

С начала 60-х годов я все больше и больше отдавался литературе. Я писал стихи несколько "модернистского" толка, вызывавшие тогда немалый интерес в кругу друзей и знакомых литераторов. В конце 1962 года был устроен большой вечер в Центральном доме литераторов, где я читал много и с определенным успехом. Мою книгу стихов рекомендовали к печати, я начал понемногу публиковаться. То и дело доброжелатели предлагали мне взять литературный — русскозвучающий псевдоним: ты много быстрее "пробьешься", говорили мне. Но я не хотел таким образом пробиваться быстрее и вообще не хотел пробиваться. Хрущев тогда начал борьбу с формализмом, и моим стихам уже не находилось места ни на страницах периодики, ни в издательствах. Однако я продолжал выступать со своими стихотворениями в различных московских залах, в том числе и в знаменитом Политехническом, продолжал писать все больше и лучше. Я жил атмосферой небывалого интереса к поэзии, возникшего в то время. Но я чувствовал, что нахожу отклик только у тех, кто видел в искусстве слова что-то более значительное, глубокое и личное, нежели могли воспринять большие толпы слушателей. Поэтому я сознательно перестал выступать на открытых вечерах, а читал свои стихи лишь в небольшом кружке поэтов, артистов, художников и музыкантов, группировавшихся вокруг замечательного искусствоведа и удивительно светлой души человека Бориса Николаевича Симолина (1902—1965 гг.). Его я считаю своим духовным учителем и своим наставником в искусстве. Он умер, преследуемый властями, и смерть его была для меня тяжелой, невозполнимой потерей.

Постепенно я стал писать и прозу. Работать в институте, который был настоящим "гадюшником", начиненном секретчиками, стукачами, да и просто тупыми

и дурными людьми, становилось просто невозможно. И я тоже подумывал о бегстве в сторожа или в крестьяне... Но моя близкая подруга рекомендовала меня как автора в музыкальное издательство, я сделал пробу, получил под аванс большую работу и весной 1967 года смог уйти из института. Меньше чем за год я сделал запись мемуаров дирижера балета Большого театра Юрия Файера. Эта книга вышла двумя изданиями и была переведена на английский. Она принесла мне некоторую известность в кругах музыкантов и искусствоведов, пишущих о музыкальном театре. Я стал постоянно сотрудничать в музыкальной прессе, писать для радио и телевидения. С самого начала своей литературной карьеры я сделал для себя непреложным законом: не писать ни слова из того, что могло бы пойти на пользу советской идеологии, на пользу пропаганде. Под тем или иным предлогом я отказывался от множества лестных и соблазнительных предложений, и если в мемуарах Файера еще и были "конформистские" страницы, то практически ничто из подписанного моим именем не несло печати "советскости". Я избежал почти неизбежной необходимости "продаваться", сознательно избрав себе нейтральную, но полезную для людей, сферу просветительской литературной работы: я писал о музыке, к тому же писал обычно для детей и юношества, писал о проблемах детского музыкального воспитания и т.п. Столь же сознательно я отказывался от попыток публиковать свои художественные сочинения — стихи и прозу и, разумеется, написанные на основе реальности очерки, эссе и др. Все это ложилось глубоко в стол и показывалось иногда друзьям. Только в последние годы, начиная с 1975-го, кое-что из написанного мною стало известно в более широких кругах. Мой большой роман "Некто Финкельмайер" постепенно вошел в самиздатовский обиход и живет там по сей день. В Советском Союзе у меня опубликовано семь книг и около шестидесяти журнальных статей.

Шестидневная война и чешские события 1968 года стали еще двумя вехами на пути моего отторжения от советского общества. Некоторые из моих друзей оказались близки к еврейскому и диссидентскому движениям. Никогда активно не участвуя ни в том, ни в другом, я всегда знал все, что происходит на этом поле общественной жизни, был знаком практически со всей самиздатской литературой. С начала семидесятых годов я уже хорошо понимал, что рано или поздно окажусь вытесненным из нормальной жизни в советском обществе, если сам не предприму шагов к уходу из него. Тогда же примерно я полушутя сформулировал свою "отъездную политику": "Пока едут единицы, я смотрю на них с недоумением; когда поедут десятки, я внимательно подумая, почему они едут; когда поедут сотни, я задамсь вопросом, а не следует ли и мне присоединиться к ним; но когда поедут тысячи, я уже буду бояться, не опоздал ли я уехать раньше". Много позже один из моих друзей, выехавший в 1973 году, прислал мне письмо, в котором напоминал: "Помнишь, ты, я и мой приятель сидели в кафе "Прага" и взвешивали "за" и "против" отъезда? Ты сказал фразу, которую я потом не забывал: "Тот, кто начал думать об отъезде, сколько бы он ни выставлял против этого доводов, все равно уедет. Это процесс необратимый". Я много раз убеждался, что это так. И мне было непонятно, почему ты не уезжал".

Во время Войны Судного дня одиннадцатилетний сын, знавший от нас, взрослых, истинную картину начала и хода военных действий, читал написанное в "Правде" и дрожащим детским голоском повторял: "Но ведь это же все вранье! Почему они всех обманывают?!" Я с тоской глядел на сына: его нужно увезти отсюда, но удастся ли? Весной 1976 года он уже сам спросил: "Папа, а мы когда поедем?"

С Людмилой — моей первой женой и матерью Володи я разошелся еще в 1969 году. У нас остались хорошие взаимоотношения, и все, касавшееся сына, мы решали вместе, без каких-либо противоречий. Сын

много бывал в моем новом доме. Моей женой стала Татьяна Кудрявцева, математик. Мы знали друг друга еще по работе в институте. И мой сын был знаком с ней со своих малых лет, теперь же они, Таня и Вовка, стали большими друзьями. Десять лет, проведенные вместе с Татьяной, были моими самыми счастливыми и плодотворными годами. Чуть ли не в первый год нашей совместной жизни, когда будущее было еще совсем неясным, она твердо сказала: "Если ты решишь уехать, я поеду с тобой". Но пока Таня продолжала работать в стенах своего института, наш отъезд выглядел практически невозможным. Уйти на новое место ей удалось лишь в 1976 году. Однако и это мало что меняло, и наши шансы получить разрешение на визу оставались минимальными. Поэтому решено было дать возможность прежде всего уехать сыну и моим родителям. Пошел я на это с тяжелым сердцем: я мог не увидеть их еще годы и годы... О худшем не хотелось и думать.

В этой ситуации прекрасно себя проявила Людмила: она уехала первой, не побоявшись отправиться в неизвестность вместе с сыном-подростком и больным стариком-отцом. Это произошло в январе 1977 года. Вскоре от них стали приходить письма, полные тепла и благодарности по отношению к родным – братьям и сестре моей матери, давним израильтянам, которые встретили приехавших как собственных детей, "даже лучше" – писал мне сын. В июле того же года получили разрешение на выезд и мои родители. Моя мать встретилась со своими братьями и сестрой – Ирмияху, Шаулом, Цви, Элишевой и Зрубавелом. Кстати сказать, Элишева приезжала к нам в Москву в 1965, а Зрубавел дважды, в 1967 и в 1973 годах.

Как жила все эти годы семья Шмуэля Давида Рабиновича (его сыновья носят фамилию Рабина), коротко изложено ниже. По моей просьбе об этом рассказали сами мои родственники.

Рассказывает о себе Ирмияху Рабина

В первые годы после приезда в Эрец я работал, помогая семье (в галантерейной лавке и др.). Когда подрос Шаул, стал работать и он, а я поехал в Иерусалим: отец хотел, чтобы я учился в учительской семинарии. Но денег не было, и я проучился только несколько месяцев. По собственной инициативе перешел в Бецалель. Одновременно работал то здесь, то там. В детстве я любил вырезать из дерева. Еще в Узлянах, а потом в школе в Малаховке стал рисовать. Учителем рисования у нас был Марк Шагал. Занимался он с нами не слишком много (вторым учителем рисования была дочь композитора Энгеля), но меня Шагал выделял из числа других детей, я бывал у него дома, он давал мне краски, и именно от Шагала я узнал, что такое цвет.

В Бецалеле, прибавив себе год (мне было 17), вступил в Хагану. Курс учебы, рассчитанный на 4 года, я прошел за два с половиной. Но профессор Шац привлек к преподаванию проф. Бермана, школа Бецалель получила статус академии, и я учился дальше.

Как раз первые восемь лет нашего пребывания в Эрец были наиболее трудными не только для нас. Только к концу 20-х годов стало развиваться сельское хозяйство. Научились добывать артезианскую воду, и это позволило начать закладку огромных садов — *пароесим*. Был тогда основан пардес Ган-Хаим — 2000 дунамов. Начали там работать 12 человек, в их числе и брат Цви. Решили, что всей семье стоит перебраться в эти края. Поселились в Кфар-Саве. Отец стал служащим в одной из контор, я вернулся из Иерусалима и тоже стал работать в Ган-Хаиме, Шаул начал устраивать хозяйство, сообща приступили к постройке дома. И тут как раз начались погромы 1929 года. Я был уже "старым командиром" (21 год!) и начал организовывать Хагану в этом районе, где до той поры

об этом еще не думали. Про Хагану тех лет можно рассказать очень многое.

В Ган-Хаиме я женился на Ривке (1931 г.). Своими семьями обзаводились и другие братья. Отец уже страдал от тяжелого сердечного заболевания, и планы семьи об общем хозяйстве не осуществились, каждый сам устраивал свою судьбу. Я работал в Ган-Хаиме и стал специалистом по прививке деревьев. В 1933 году рабочие компании Ган-Хаим решили организовать мошав, и я стал его членом. Я зарабатывал очень неплохо, но мне хотелось иметь время для живописи. А я к тому же много занимался делами мошава. И вот я решил стать *шомером* — охранником. О том, как мы создавали "Агудат-ха-Шомер", тоже особый рассказ. Я написал об этом большую книгу в двух томах. В конце 1936 года меня сделали ответственным за охрану всего нашего округа. Отец был тогда при смерти. Я приехал к нему в больницу, и он уже не узнал меня. А через день ночью, когда я объезжал своих "шомеров", мне сообщили, что отец умер. Я выехал в Тель-Авив, но к похоронам не успел.

Тогда были организованы курсы военного обучения (конечно, не надо объяснять, что вся наша работа была нелегальной). Я был руководителем таких курсов в Эмеке. А затем от добровольной работы в Хагане перешел на службу. Меня послали сначала в Цфат, затем я стал командиром ("мефакед-гуш") Южного округа. В общем, стал кадровым работником Хаганы: был ее представителем по полулегальным связям с полицией (уже в 1941—42 годах), продолжал и работу в "Агудат-ха-Шомер" (исполнял функции секретаря). Многие мои товарищи погибли, защищая ишув от погромов и нападений арабов. О них я написал книгу "Как пали товарищи". Эту книгу нужно было написать. А вот о живописи думать не приходилось...

В 1945 году на американском бомбардировщике я как представитель Хаганы и посланец Сохнута вылетел в Европу для работы с перемещенными лицами, а по сути дела для спасения и переправки в Эрец уце-

левших евреев. Пробыл в Европе два с половиной года и немедленно сложил чемоданы и выехал в Марсель, услышав по радио, что в ООН проголосовали за создание Государства Израиль. В 1948 году я работал в генштабе инспектором по оружию. Однажды меня повели знакомить с хорошим оружейным мастером и привели... к брату Цви! После Войны за Независимость, работая в Министерстве обороны, я организовал Музей истории обороны. Написал книгу "Арабские легенды", посвященную моему погибшему другу.

В начале 50-х годов, когда стало потише, начал работать в сельскохозяйственном центре, где организовывались школы для новоприбывших в страну. Работал также в управлении культуры Кфар-Савы. Но затем уволился и уехал на несколько месяцев в Европу. Поездку эту я предпринял, чтобы насытиться впечатлениями от европейского искусства: я не расставался с мечтой заняться живописью.

Вернувшись, я начал работать редактором одного из профессиональных журналов Гистадрута. Работая там, я в течение года брал только полставки, чтобы иметь возможность написать свою двухтомную книгу об истории "Агудат-ха-Шомер". На этом месте я проработал 16 лет до ухода на пенсию. Я стал более регулярно заниматься живописью, устраивал свои выставки. Я также проявил инициативу в создании общества людей искусства, живущих в мошавах, чему посвятил немало времени и сил.

Рассказывает о Шауле Рабина его брат Ирмияху

Подростком Шаул учился и работал в "Ха-Ноар ха-овед". Он был слесарем на фабрике "Шемен" в Хайфе, где тогда работал и наш отец. Однажды он отремонтировал машину для резки мыла, подошедший рабочий включил ее, и Шаулю отрезало четыре пальца и часть кисти левой руки. Ему тогда было 15 лет. После того, как мы обосновались в Кфар-Саве, Шаул начал заниматься

устройством семейного хозяйства. Позже, с переменой планов, он устроил свою птицеводческую ферму. Это было новое в стране дело, его изучали и ставили на серьезную основу. Профессиональные интересы познакомили Шаула с Гнесей — специалистом-птицеводом в киббуце Киннерет. Между прочим, Гнеся прибыла в страну на одном пароходе с нашим отцом. Женившись, Шаул и Гнеся поселились в киббуце Гиват-Бреннер, где была организована большая птицеферма. Со временем Шаул стал крупным специалистом в своей хозяйственной сфере. Позже он работал в компании "Тнува" и был одним из организаторов израильского сельскохозяйственного экспорта. А до недавних дней Шаул работал в министерстве сельского хозяйства: он был инспектором агротехнических школ и много сделал для их развития.

Рассказывает о себе Цви Рабина

После того, как мы обосновались в Эрец, я учился в средней школе, а потом в техническом училище, но семье было не на что жить, и я его не закончил. Наш родственник Нельсон Гурвиц устроил меня в Рамат-Ган сторожить пардес. Потом, когда началось освоение Ган-Хаима, я стал работать там трактористом и мастером по водоснабжению. С этой поры я был полностью самостоятельным. В 1932 году женился, моя жена была членом киббуца Гиват-ха-Шлоша. Работал одно время в кооперативном гараже в Тель-Авиве. Затем приобрел трактор, на котором работал как самостоятельный рабочий. Все эти годы, начиная с 17 лет, был в Хагане. В 1936 году мы переехали в Ришпон, потом в Герцлию. Во время Мировой войны занимался производством оружия в Сирии и Ливане, тогда как жена была здесь, в киббуце..

Во время Войны за Независимость ушел из киббуца на подпольную работу по производству оружия в Тель-Авиве. А потом вернулся к работе по своей прежней

профессии специалиста по источникам водоснабжения. В течение ряда лет до самого ухода на пенсию я был в городском управлении Тель-Авива начальником отдела водоснабжения города.

Рассказывает об Элишеве и о себе ее муж Меир Калаи

Моя семья выходцев из Варшавы прибыла в страну с Четвертой алией, в 1924 году. В семье сочетались и религиозно-хасидские, и сионистско-халуцианские стороны. После приезда мой отец и брат в результате неудачи с устройством сигаретной фабрики потеряли все состояние, и я не смог продолжать учебу и пошел в "Ха-Ноар ха-овед". Там я познакомился с Элишевой. Меня привлекало молодежное движение. Несколько лет я был секретарем "Ха-бахрут ха-социалисти". После нашей женитьбы мы с Элишевой некоторое время жили в киббуце, но оказалось, что физически нам было трудно выдержать работу там. Элишева, однако, всегда стояла за деревенскую жизнь. Она вела наше хозяйство, и на ее попечении все последние годы своей старости была ее мать Эстер. Элишева также участвовала и в молодежных движениях, мы вместе были в Хагане. У нас выросло трое детей, два сына и дочь. Много Элишева занималась общественной работой. Закончив специальные курсы, она взяла на себя заботу и уход за глухонемым мальчиком, которому она помогла научиться речи, чтению и письму и тем самым войти в общество.

Я большую часть своей трудовой деятельности провел на разных должностях в хозяйственной компании Гистадрута.

Рассказывает о себе Зрубавел Рабина

Я начал учиться в школе, когда мы жили еще в Акко, ходил в школу и в Хайфе. Ходил босой и в штанах,

которые мне всегда были слишком длинны: их передавали мне братья, которые все были больше меня. В двенадцать лет бросил школу: стал работать. Пахал, идя за лошадью. Получал двадцать грушей за 10 вспаханных дунамов. Взрослые вспахивали 5. Потом мой хозяин Шустер и я купили трактор: он внес 2 фунта, и я 2 фунта. Так я стал компаньоном в деле. Мне было тогда четырнадцать. Потом Цви купил трактор. Работал с ним года два в Герцлии. Во время Мировой войны занялся куплей и продажей зерна. Когда началась Война за Независимость, я делал оружие. Я дал деньги и начал производство той самой пушки, которая стоит сейчас в центре Иерусалима. Делали ее в Яффо. Изготовили 8 штук, потом их стали делать и в других местах. Но это рассказ особый. После войны шесть лет провел в США. Занимался и занимаюсь бизнесом. У нас с женой Тхией четверо детей и уже много внуков.

И в заключение — еще несколько слов об авторе этих строк и его семье.

Мы с Таней подали свои документы в ОВИР, почти не имея надежды, что нас выпустят. Что сыграло свою роль в этой жестокой и тайной игре "пустить — не пустить", остается только гадать. Вероятно, сказался помимо прочего фактор "волны" выпусков — наибольшей, как стало теперь очевидно, за все годы. Мы прибыли в Израиль 30 ноября 1978 года — в день 75-летия моего отца.

Прошло полтора года. Младенческий срок. И об этом что же здесь писать? Мы все вместе — мои родители, мой сын, Таня и я; здесь многочисленная семья Рабина; здесь много друзей — и еще из России, и новых. Здесь много чего есть. А чего нет — нет чувства, что ты живешь, зажатый в тиски; нет ощущения своей беспомощности перед слепой, тупой силой; нет оглядки на свои слова; нет беспросветной тьмы, насилия, злобы и равнодушия; нет уличной пьяни, которую я ненавидел; нет ощущения, что ты не принадлежишь себе. Я впервые чувствую полную внутреннюю свобо-

ду. А это стоит жизни. Я пишу и публикую то, что хочу, и это тоже значит для меня очень многое.

Таня быстро освоилась на работе. Я знаю, что у нее там дружеские отношения с коллегами, она занимается интересным делом. Ведь она такой же "сумасшедший" математик, как я — писатель: возможность заниматься творчеством для нас обоих на первом месте. К счастью, у нее работа, дающая ей эту возможность. Кроме того, мы сумасшедшие любители музыки. Ее тут хватает. И "Манн-аудиториум" в Тель-Авиве видит теперь пристроившуюся на ступеньках пару точно так же, как видел ее на своих ступеньках в течение многих лет Большой зал Московской консерватории...

В права вступает шестое поколение. Самое время дать ему стило. Пусть в лице моего сына Володи Илана Розинера Поколение-VI само напишет о себе — то, что может, и то, что хочет:

— Я родился в 1962 году в Москве. Детство было полно впечатлений: с родителями я много ездил по стране, я рано стал слушать музыку, ходить на выставки, читать и думать. Воспитанный в интеллигентской среде, рано стал понимать сущность советского строя. Поэтому наш переезд в Израиль в 1977 году я воспринял вполне сознательно. Здесь кончил школу, был в молодежном движении. Успел поехать по белу свету — дважды побывал в европейских странах. Поступил в Тель-Авивский университет, где учу психологию и лингвистику. Год тому назад встретил и полюбил девушку, на которой скоро женюсь.

Оказывается, он женится!... Ну-ну... К чему это ведет, известно: Поколение - VII, Поколение- VIII, Поколение-IX...

Серебряная цепочка...

*Раанана
Июнь 1980*

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ИДЕАЛИЗМ КАК СМЫСЛ ЖИЗНИ

*Выступление в киббуце Тель-Йосеф
на "Встрече четырех поколений"
по случаю 60-летия "Гдуд ха-Авода"*

Я приехал сюда два года назад из страны скомпрометированного социализма. Кредо мыслящей части моего поколения, выросшего в России, — полное неверие в социализм. Этот факт одновременно является счастьем и несчастьем моих сверстников, а говоря шире, — нашего времени вообще.

Наши отцы были поколением идеалистов. Их веры в идеальное общество хватало сразу на несколько глобальных, всеобъемлющих идей, которые это поколение пыталось воплотить в реальность. Одна из них — идея сбора евреев в Палестине и как часть этой идеи — создание еврейского государства, построенного на принципах всеобщего блага и справедливости; другая — идея общемирового идеального, справедливого общества, то есть социалистическая и коммунистическая идея прежде всего. Как я понимаю, в "Гдуд ха-Авода" были группы людей, исповедовавших эти идеи в различных сочетаниях. Те, у кого общемировая идея пре-

обладала, вернулись в Россию, отдав предпочтение одному, глобальному идеалу перед другим, частным. Результат мы знаем: эти люди погибли там, в России, еще до того, как погиб их идеализм. Мои родители, вернувшиеся сейчас сюда, в Израиль, — одно из немногих исключений.

Здесь, в Израиле, я написал книгу по материалам из истории моей семьи. Об истории физики XX века Эйнштейн сказал: "Это драма, драма идей". Вслед за ним я могу сказать то же самое об истории нескольких поколений моей семьи: "Это драма, драма идей". Прапрадед — бобруйский раввин-мудрец, целиком живший идеей Торы; прадед, сделавший первый шаг к светскому мировосприятию; дед, захваченный идеей сионизма; родители, уступившие сионизм коммунистическому интернационализму; и наконец их дети и внуки, свидетели такого множества идеологических катастроф, что предпочитают сегодня жить, не веря ни в чистую идею, ни в эксперимент. Если бы я попытался сформулировать свое мировоззрение и мировоззрение думающей части интеллигенции, живущей в России сегодня, и многих из тех, кто в последние годы покинули ее, то формулировка была бы не больше, чем рядом вопросов:

Можно ли, допустимо ли строить человеческое общество на основе идеологической модели?

Есть ли спасение от призрака тоталитарного общества?

Есть ли третий путь для человечества — кроме скомпрометировавших себя капитализма и социализма?

Несчастье в том, что на все эти вопросы сегодня ответа нет. Счастье же в том, что разочарование и катастрофа идеи социализма поставили эти вопросы.

Но говорит ли это о катастрофе идеализма вообще? Мой вывод оптимистичен.

Ведь сама постановка этих вопросов, мучительное раздумье над их разрешением по существу своему не меньший идеализм, чем практический идеализм наших отцов. Мы, мое поколение, должны понимать, сколь

многим мы обязаны тем, кто стремились к созданию идеального общества, и в частности к созданию идеального еврейского государства, кто, как это наиболее разительно было в "Гдуд ха-Авода", на собственных спинах вынесли всю тяжесть практического, экспериментального воплощения своей веры в реальность. Мы должны быть благодарны им, поскольку свой идеализм мы восприняли от них. Парадоксально, но чтобы разочароваться в социализме, нужно было поверить в него. И следовательно, в начале нашего сознательного пути был все тот же идеализм.

Я бы добавил к этой картине еще один, может быть, решающий штрих. Разочарование, бездуховность, безыдейность не могут составлять существо жизни. Жизнь без идеала — сера и недостойна мыслящего человека. Думаю, что нынешнее поколение на пути к новому идеалу, в поиске идеала. Всем известно, что путь человека к его жизненному счастью ощущается им сильнее, острее, чем счастье уже достигнутое. Точно так же и путь поиска, движения к идеалу дает мыслителю наивысшее удовлетворение. Вот почему я могу закончить на этой оптимистической ноте. Драма идей нескончаема. В этом смысл истории, смысл человеческого бытия.

25 октября 1980

КРАТКИЙ ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

арон-кодеш – шкаф для хранения свитка Торы в синагоге

бет-мидраш – здание, в котором изучается Тора. Также синоним синагоги

брит-мила – обрезание

Бунд – еврейская социалистическая партия в России

Гемара – Талмуд

"Гехалуц" – сионистская молодежная организация, члены которой ставили своей целью селиться в Эрец-Исраэль и трудиться там, осваивая страну

гоим (мн. число от *гой*) – неевреи

иешива – высшее еврейское религиозное училище

"Керен-Кайемет" – Еврейский национальный фонд

кошер – пища, которая разрешается еврейским религиозным законом

миква – место ритуальных омовений у евреев

миньян – десять взрослых мужчин-евреев – число, необходимое для совершения общественной молитвы.

митнагдим – евреи, не присоединившиеся к хасидизму

мицвот – религиозные заповеди

мошава – сельскохозяйственное поселение, деревня

моцаэй-шаббат – вечерние часы после окончания еврейской субботы

майофис – здесь: славословие

"Поалей-Цион" – социалистическое движение в сионизме

ребецн (идиш) – жена раввина

Рош-ха-Шана – еврейский Новый Год

седер (пасхальный *седер*) – традиционный порядок ведения пасхального вечера

талмуд-тора – еврейская религиозная школа

тарбут – культура

треф – пища, которая не разрешается еврейским религиозным законом

тхия – возрождение

тфиллин – то же, что филактерии, специального изготовления коробочки с текстами из Торы. Накладываются на руку и на голову – как правило, перед утренней молитвой

"Ха-zman" – "Время", газета

халуцим (мн. число от *халуц*) – пионеры, которые отправлялись в Эрец-Исраэль, чтобы жить и трудиться на ее земле

"Ха-Ноар ха-овед" – движение, связанное с Национальной конфедерацией труда

"Ха-поэль ха-цаир" – сионистская партия рабочих в Эрец-Исраэль

хасиды – последователи учения хасидизма, возникшего в XVIII веке среди евреев Восточной Европы

"Ха-тиква" – "Надежда", песня сионистов, ныне гимн Государства Израиль

хебра-кадиша – погребальное братство

хедер – начальная еврейская религиозная школа

"Ховевей-Цион" – члены *"Хиббат-Цион"*, течения в России, из которого развился российский сионизм

"Цеирей-Цион" – "молодежь Сиона", сионистское социалистического уклона рабочее движение в России

шекель – здесь: денежный членский взнос в Сионистскую организацию. Также название членского удостоверения

этрог – цитрусовый плод, над которым произносят особое благословение в дни праздника Сукот

КНИГИ СЕРИИ "БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"

- 1–2. Леон Юрис. ЭКСОДУС
3. Д-р А.И. Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арие (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е. Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А.И. Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Арон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У. Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И. Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Алон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917–1967)
25. Ш.Й. Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, главы из романов
26. Элизер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Товия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 2
30. А. Итай и М. Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С.Г. Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. Р. Губер. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСПРАЭЛЬ. Географический очерк
35. Дж. и Д. Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И. Башевис-Зингер. РАБ

37. Р. Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернارد Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в кибуцах
55. Джон Орбах. РИКША
56. Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ
ЗА СВОЮ СВОБОДУ
57. Исаак Бабель. ДЕТСТВО и другие рассказы
58. Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
59. Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
60. Андрэ Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ
ПЛАНЕТЕ
62. Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
63. Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
64. Макс И. Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
65. Сол Беллоу. ПЛАНЕТА М-РА СЭММЛЕРА
66. ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ. Сборник.
И. Кауфман. БИБЛЕЙСКАЯ ЭПОХА.
Л. Финкелстайн. ЕВРЕЙСКАЯ ВЕРА И ПРЕТВОРЕНИЕ
ЕЕ В ЖИЗНЬ.
Ш. Эттингер. КОРНИ СОВРЕМЕННОГО АНТИСЕМИ-
ТИЗМА.

67. А. Суцкевер. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ
68. АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник
69. СКОПУС. Антология поэзии и прозы
70. Ури Дан. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ
71. Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ
72. Л. Коллинз и Д. Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!
73. М. Новомейский. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ
74. М. Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ
75. Ф. Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО
76. Ф. Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ
77. А. Шлионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА
78. Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ
79. Х. Н. Бялик и И. Х. Равницкий. АГАДА
80. ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
81. ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
Б. Динур. Исторические основы возрождения Израиля
С. Дубнов. Письма о старом и новом еврействе
82. ЕВРЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ В ИСПАНИИ
83. Ханох Бартов. ВЫДУМЩИК
84. Гилель Бутман. ЛЕНИНГРАД – ИЕРУСАЛИМ
85. Жак Дерожи. ТАЙНА СУДНА "ЭКСОДУС – 1947"
86. Цивья Любеткин. В ДНИ ГИБЕЛИ И ВОССТАНИЯ
87. М. Стейнберг. ОСНОВЫ ИУДАИЗМА
88. А. Кестлер. ВОРЫ В НОЧИ
89. Я СЕБЯ ДО КОНЦА РАССКАЗАЛА. Сборник стихов.
90. Ада Серени. КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ.
91. Иехуда Атлас. ХОТЬ НА ВИСЕЛИЦУ.
92. М. Стейнберг. КАК СОРВАННЫЙ ЛИСТ.
93. Н. Полетика. ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ
94. Эли Визель. ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
95. Альбер Мемми. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ
96. Шломо Авинери. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
97. МЫ НАЧИНАЛИ ЕЩЕ В РОССИИ. Воспоминания
98. Хаим Граде. БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА
99. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ
100. Луи Финкелстайн. РАББИ АКИВА
101. ИВРИТ – ЯЗЫК ВОЗРОЖДЕННЫЙ. Сборник статей
102. Меир (Муня) Мардор. СЕКРЕТНОЕ ЗАДАНИЕ

**ТРЕБУЙТЕ КНИГИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА
"БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"
ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ
РУССКОЙ КНИГИ**

**Наши книги можно заказать
также по адресу:
Р. О. В. 39298
61392 Tel-Aviv
ISRAEL**

ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ:

Давид Шраер. **В ОТКАЗЕ.** Роман.

В книге дается анализ различных мотивов, побудивших евреев Советского Союза принять решение о выезде, который начался в конце 60-х годов.

Гершом Шолем. **ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ
В ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ.** Пер. с англ.

Г. Шолем (1897–1982) – первый исследователь каббалы и еврейской мистики вообще. Благодаря его неутомимым трудам, история каббалы и других мистических течений в иудаизме превратилась в серьезную науку и проливает новый свет на многие явления религиозной жизни еврейства. Книга читается с интересом и необычайно обогащает читателя.

Голда Меир. **АВТОБИОГРАФИЯ.** Пер. с англ.

Автор книги (1898–1978) – политический и государственный деятель Государства Израиль.